

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЕЖНО, ВЫГОДНО И УДОБНО ХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.

Сберегательные кассы принимают вклады нескольких видов:

● **ВКЛАДЫ до востребования** принимаются на неограниченный срок, их можно в любое время пополнить или получить по частям или полностью. По вкладам до востребования выплачивается доход из расчета 2% годовых;

● **СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ** принимаются на срок не менее шести месяцев. Срочный вклад нельзя пополнить или получить частями. Каждый дополнительный взнос оформляется как новый срочный вклад. Если вкладчик желает получить часть срочного вклада, то данный счет по вкладу закрывается, а на оставшуюся часть открывается новый срочный вклад. По срочному вкладу выплачивается доход из расчета 3% годовых;

● **УСЛОВНЫЕ ВКЛАДЫ** — вносимые на имя лица, которое может распоряжаться вкладом лишь при соблюдении определенных условий или при наступлении обстоятельств, указанных при внесении вклада: например, после окончания учебного заведения или достижения вкладчиком совершеннолетия и т. д. По условным вкладам выплачивается доход из расчета 2% годовых;

● **ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ** отличаются от всех других вкладов тем, что доход по ним выплачивается в форме выигрышей. Тиражи проводятся два раза в год — в апреле и октябре. На 1000 счетов в тираже разыгрывается 25 выигрышей: один выигрыш в размере 200%, два выигрыша по 100%, два — по 50% и двадцать выигрышей по 25% среднего остатка вклада за истекшее полугодие, на который выпал выигрыш;

● **ВКЛАДЫ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА**, которыми вкладчики распоряжаются путем выдачи чеков: именных или на предъявителя. По вкладам на текущие счета доход выплачивается из расчета 2% годовых.

Российское республиканское
управление Гострудсберкасс



ОГОНЁК



Уильям ФОЛКНЕР

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Уильям ФОЛКНЕР

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

*Перевод с английского
Николая Колпакова*

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1979

Уильям ФОЛКНЕР

Уильям Фолкнер (1897—1962 гг.), выдающийся американский писатель, классик мировой литературы XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе 1949 года, родился на Юге США в семье железнодорожного кондуктора. Учился в средней школе, но, не окончив ее, ушел во время I мировой войны добровольцем на фронт. Демобилизовавшись, жил в Новом Орлеане, где познакомился с писателем Шервудом Андерсеном. Под его влиянием Фолкнер написал свой первый роман «Солдатская награда» (1926 г.), посвященный судьбе искалеченного на войне парня. В последующем У. Фолкнер написал более двадцати романов, повестей, пьес и множество рассказов. Многие из них переведены на русский язык.

Творчество писателя сложно и многообразно. Многие произведения рисуют жизнь родного Юга с его жестокой расовой дискриминацией и глубоким классовым расслоением. В своей знаменитой трилогии о Сноупсах, жестоких, хладнокровных дельцах («Деревушка», «Город», «Особняк»), Фолкнер показал себя последовательным гуманистом, защитником прав обездоленных людей, в особенности негров. Писатель даже основал литературный фонд своего имени, чтобы помочь студентам-неграм, занимающимся литературой, получить высшее образование.

Фолкнер активно боролся за мир: в его произведениях отчетливо звучат мотивы ненависти к войне и осуждения тех, кто стремится ее развязать. Он остро критикует социальные устои и нравы буржуазного общества, основанного на лжи и коррупции.

Включенные в настоящий сборник рассказы Фолкнера написаны автором в конце тридцатых — начале сороковых годов, то есть уже зрелым, имеющим мировую славу писателем.

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Было время, когда дядя Гевин еще не работал окружным прокурором. Правда, то было двадцать лет назад и продолжалось столь короткое время, что только старики, да и те не все помнят об этом потому, что тогда он провел в суде всего одно дело.

В те дни он был еще молодым человеком двадцати восьми лет, лишь год назад окончившим школу права при университете штата, куда поступил учиться по настоянию дедушки, когда возвратился из Гарварда и Гейдельберга. Защиту по делу он взял на себя добровольно, уговорив дедушку разрешить ему вести его самостоятельно, на что тот согласился, ибо мы все считали, что судебное разбирательство в данном случае не больше, как пустая формальность.

Обвиняемым по делу проходил солидный, зажиточный фермер, отец семейства по фамилии Букрайт из весьма отдаленного местечка нашего округа под названием Французова Балка; потерпевшим был заносчивый, хвастливый головорез по имени Бук Торп, верховодивший местными хулиганами с помощью своих кулаков в течение тех трех лет, которые он провел во Французовой Балке, где он появился однажды ночью неизвестно откуда, человек без роду и племени, скандалист и картежник, всем известный самогонщик и вор, раз уже пойманный на дороге в Мемфис с небольшим гуртом краденного скота, владелец которого опознал его сразу же, но у Торпа каким-то образом оказалась на гурт купчая, хотя никто во всей округе не знал человека с такой фамилией, что красовалась на документе.

И история была сама по себе стара, как мир, и ничем не примечательна: деревенская девушка семнадцати лет, чье воображение было распалено хвастовством, удалью, отважной дерзостью и бойким языком соблазнителя; отец, старавшийся образумить ее и действовавший точно так, как действуют в подобных случаях тысячи других родителей — вначале запретил ей встречаться, потом посадил дома под замок, ну и как следствие — тайный побег под покровом ночи, а в четыре часа утра Букрайт-отец явился с повинной к Биллу Уорнеру, мировому

судье и единственному представителю власти в тех краях, и отдал ему пистолет со словами: «Арестуйте меня! Я убил Торпа два часа назад».

Сосед его, Квик, первым прибежавший на место преступления, видел в руке мертвого Торпа наполовину извлеченный из кобуры пистолет; через неделю после того, как мемфисские газеты дали короткую заметку о происшествии, во Французовой Балке появилась никому не известная женщина, которая заявила, что она является законной женой Торпа, в доказательство чего предъявила брачное свидетельство и потребовала деньги и имущество, что могли остаться после него.

Я помню удивление всех даже тогда, когда Гранд-жюри решило передать дело в суд. А когда секретарь суда зачитывал обвинительное заключение, то в публике принимались ставки двадцать против одного, что присяжным хватит десяти минут, чтобы вынести оправдательный приговор. Прокурор округа и тот передоверил участие в суде своему помощнику, причем последнему понадобилось меньше часа для разбора всех имеющихся в деле доказательств. Затем встал дядя Гевин, и я помню, как он оглядел присяжных: одиннадцать человек — все фермеры и лавочники, и двенадцатый, тот, который обратил в прах всю его защитительную речь, тоже фермер, маленький такой, щупленький, с редкими седыми волосами, по виду житель с плоскогорья, хилый и изможденный работой донельзя и вместе с тем какой-то вечный, несокрушимый, один из тех, кто как постарел в пятьдесят лет, так больше уже не поддается действию времени. Дядя Гевин говорил спокойным, почти монотонным голосом:

— Каждый из нас в этом округе, на Юге, еще с детства затвердил несколько правил, которых мы придерживаемся как основных и по сей день. Одним из первых, не самым лучшим, а всего лишь одним из первых, является правило, согласно которому только жизнью можно расплатиться за ту жизнь, что ты отнял у другого, что смерть одного есть только половина дела. Так вот, если это так, то мы могли бы спасти обе эти жизни, остановив подсудимого еще до того, как он вышел из дому той роковой ночью; мы по крайней мере могли бы сохранить одну из жизней даже в том случае, если бы нам паче чаяния пришлось отнять жизнь у этого обвиняемого, чтобы остановить его руку. Но мы ничего не знали о готовящемся. И вот о чем я говорю — я говорю не о мертвом не о его поведении, не о том, моральным было или нет задуманное им деяние, и не о самообороне; так или иначе обвиняемого оправдывает то, что его довели до необходимости лишить другого жизни; я говорю о нас, о тех, кто жив, о том, чего мы не понимаем, обо всех

нас, о людях, которые в сущности своей всегда стремятся все сделать хорошо и не хотят причинить вред другому; о людях с их сложным переплетением страстей, чувств, надежд и желаний, принять или отвергнуть которые они не в состоянии, о людях, стремящихся все сделать наилучшим образом благодаря или вопреки своим страстям, надеждам и желаниям. Вот перед вами подсудимый, человек с тем же самым переплетением страстей, чувств и желаний, столкнувшийся с трудной проблемой — неизбежным несчастьем родного дитя, также обладающего тем же самым сгустком человеческих страстей, надежд и желаний, которое оно, помимо своей воли, получило в наследство, плюс к тому глупое упрямство молодости, не имеющей никаких навыков к самосохранению, — столкнулся с проблемой и решил ее, решил один, без посторонней помощи, наилучшим по его разумению и способностям образом, а потом остался верен своему решению и свершенному им акту.

Он сел. Помощник прокурора лишь встал, поклонился суду и снова сел. Присяжные удалились в совещательную комнату, а мы даже с места не сдвинулись. Судья и тот остался в своем кресле. И я помню, как что-то вроде продолжительного вздоха пронеслось по залу суда, когда стрелка часов над судейским креслом проскочила вначале десятиминутную, затем получасовую отметку: судья поманил пальцем судебного пристава, прошептал ему что-то на ухо; пристав ушел, затем вернулся обратно, прошептал что-то судье, судья стукнул молотком и объявил перерыв.

Прошло три часа, и теперь весь город знал, что присяжные раскололись и не могут прийти к единогласному решению: одиннадцать стояли за оправдание, а двенадцатый — против. Пришел торопливо дядя Гевин, и дедушка сказал:

— Ну, Гевин, ты, кажется, закончил свою речь как раз, чтобы помешать присяжным прийти к единому мнению, а не то чтобы помочь выпутаться из беды своему подзащитному.

— Ваша правда, сэр, — сказал дядя. Он взглянул на меня своими горящими глазами на тонком подвижном лице с начавшими сесть на висках волосами.

— Чик, поди-ка сюда, — кликнул он меня. — Ты мне нужен на пару минут.

Мы вышли из конторы и двинулись по лестнице. На полпути, да, это именно было на полпути в никуда, дядя Гевин остановился: рука на моем плече, глаза горят еще ярче и сильнее, чем когда-либо.

— Это тебе не крикет, — сказал он. — Правосудие — вещь тонкая и не терпит постороннего взгляда. Присяжные сидят в

задней комнате пансиона миссис Раунсвелл. Комната выходит окнами прямо к тутовому дереву. Так вот, если бы ты сумел пробраться тайком на задний двор и взобраться потихоньку на это дерево...

Я сумел. Никто меня не видел. Зато я видел всех. Видел и слышал всех двенадцать человек — девятеро, сердитые, негодующие, сидят, насупившись, в креслах в дальнем углу комнаты; мистер Холленд — старшина присяжных и еще один человек стоят перед тем креслом, где сидит тот щупленький, замученный работой, худой, как скелет, фермер с плоскогорья. Звали его Фентри. Я хорошо помню их имена потому, что дядя Гевин как-то сказал мне, что если хочешь стать преуспевающим адвокатом или политиком в нашем штате, то совсем не обязательно обладать каким-то особым даром красноречия или получить образование, достаточно иметь хорошую память на имена и фамилии. Впрочем, я и без того запомнил бы его имя, потому что его звали Джексон Каменная Стена, да, Джексон Фентри Каменная Стена.

— Ты что же, хотел бы, чтобы он убежал с этой девчонкой? — спрашивает его мистер Холленд. — Ты что же, не признаешь, что в его руках был пистолет, когда его нашли мертвым? Ты не согласен с тем, что он чуть не убил перед этим женщину, являвшуюся его законной женой? Ты не согласен с тем, что он был не только вредный, но и опасный для общества человек, и что, если бы не Букрайт, то кто-нибудь другой рано или поздно прикончил бы его, и лишь злой рок столкнул Букрайта с ним?..

— Со всем согласен, — отвечал Фентри.

— Так что же ты тогда хочешь?! — спрашивает Холленд. — Что?!

— Я ничего не хочу, — говорит Фентри, — но голосовать за оправдание Букрайта не буду.

Так он и сделал. К вечеру судья Фрезер распустил присяжных и передал дело на новое рассмотрение на следующей очередной сессии суда.

На другой день, утром, дядя Гевин заехал за мной на автомашине еще до того, как я позавтракал.

— Скажи матери, что мы, может быть, вернемся только к вечеру, — сказал он. — Скажи ей также, что я обещаю присмотреть за тобой...

— Я узнал, что... — начал он, когда мы уже мчались на большой скорости по северо-восточной дороге, и его глаза горели, нет, не от расстройства, они горели в каком-то нетерпении, — что он родился, вырос и прожил всю свою жизнь в совершенно противоположном конце округа, в тридцати милях от Фран-

цузовой Балки. Он под присягой заявил, что никогда в жизни не видел Букрайта до этого, и тебе стоит только взглянуть на него, чтобы тут же понять, что у него и времени-то свободного не было, чтобы каким-то образом научиться лгать. Я уверен, что он до этого даже фамилии такой не слышал.

Мы ехали почти до самого полудня. Дорога шла в гору среди бесчисленных холмов в стороне от плодородной долины, извиваясь меж сосен и дубов, по бесплодной каменистой почве с расположенными по склонам небольших участков тощей, вытянувшейся в длину кукурузы и хлопка — они каким-то непонятным образом выживали и росли, как выживали и росли здесь люди, которых они кормили и одевали; дорога была хуже любого проселка: вся в ухабах и выбоинах, половину пути приходилось ехать на второй скорости. Затем мы увидели почтовый ящик, на котором грубо, от руки было написано: «Д. А. Фентри», — а за ним виднелся пятистенный бревенчатый дом с открытым холлом, и даже я, двенадцатилетний мальчишка, мог сообразить, что в нем вот уже много лет как ничья женская рука не прибиралась. Мы вошли во двор. Вдруг нам кто-то как закричит:

— Стой, ни с места!..

Мы его даже не заметили вначале, этого старикашку, босоного, со свирепой торчащими седыми усами, в залатанных грубых холщовых штанах и рубахе, до того излинявших, что они походили цветом на синее снятое молоко. Маленький, худосочнее чем даже сын, он стоял у края покосившейся веранды, держа в руках дробовик и трясясь от ярости, а может, от паралича.

— Мистер Фентри... — начал дядя Гевин.

— Прочь, прочь! Достаточно вы его изводили, хватит! — закричал старик. Ярость так и душила его, голос едва не срывался от гнева. — Прочь отсюда! Прочь с моей земли! Застрелю!

— Пошли, — сказал дядя Гевин спокойно. Его глаза все еще горели, нетерпеливые, чуть опечаленные и грустные.

Теперь мы не спешили. Следующий почтовый ящик находился в миле от дома Фентри. На сей раз дом был покрашен краской, вдоль лестницы, ведущей в дом, высажены клумбы петуний, земля вокруг казалась лучше, плодородней, а хозяин дома даже спустился с галереи и встретил нас у ворот.

— Здравствуйте, мистер Стивенс, — сказал он, — значит, Джексон Фентри расколол присяжных?..

— Здравствуйте, мистер Прайт, — ответил дядя Гевин. — Выходит, что так. Расскажите-ка мне о них все, что вы знаете,

— Моя мама знает лучше об этом, — сказал мистер Прайт, — пойдемте-ка к нам в дом.

— Мама, это адвокат Стивенс, — представил нас Прайт. — Сын капитана Стивенса из города. Он хочет поговорить с тобой о Джексоне Фентри.

Мы сидели и слушали, пока они по очереди рассказывали о нем.

— Вон их земля. Вы, наверное, уже успели ее разглядеть, пока ехали, а что не успели, то не стоит и смотреть. Его отец и мать трудились на ней, стараясь прокормить себя и семью, платить вовремя налоги и никому не задолжать. Я не знаю, как это им удавалось, но они выходили как-то из положения. Джексон начал помогать им с той самой поры, когда стал доставать своими ручонками рукоятки плуга. Он так и не вырос больше, да и никто из их семьи не отличался большим ростом. И я понимаю почему. Джексон обрабатывал землю, трудился на ней все свое время, пока ему не стукнуло двадцать пять лет и пока он не стал похож на сорокалетнего. Они жили вдвоем с отцом, сами стирали и варили, ни к кому не обращаясь за помощью и ничего не имея. Джексон даже не женился, ибо разве может человек жениться, если у него и обуви-то одна пара на двоих. Да и стоило ли на это тратить время, когда земля уже отняла жизнь у его матери, как отняла ее у бабушки, когда им не было и сорока. Но так продолжалось до того момента, когда однажды вечером...

— Чепуха, — сказала миссис Прайт. — Когда твой отец и дед женились, у них даже крыши над головой не было. Мы переезжали с места на место, снимая то один дом, то другой, беря в аренду то одну ферму, то другую...

— Это все верно, — протянул мистер Прайт. — Так вот однажды вечером он пришел к нам и сказал, что устроился работать на мельницу во Французовой Балке...

— На чью мельницу? — спросил дядя Гевин.

— Квика, — ответил Прайт. — Бена Квика. Однако на второе рождение он уже не пришел. Затем где-то в начале марта, когда речка во Французовой Балке так пересыхает, что курица вброд перейдет, и когда мы уже было решили, что он остался на третий год, он вдруг вернулся домой насовсем. На сей раз он не пришел домой пешком, а приехал на наемной коляске. Потому, что привез козу и ребенка...

— Подождите-ка, — сказал дядя Гевин, словно что-то подсчитывая. Так, понятно. — Продолжайте...

— Когда я, наконец, услышав об этом, пришла к ним, то увидела, что ребенку нет и двух недель и что он его выхаживает на одном козьем молоке...

— Ну, коза не корова,— заметил Прайт.— Козу можно де-
ить каждые два часа, даже ночью.

— Это верно,— согласилась миссис Прайт.— Так вот у ре-
бенка не было даже обычных пеленок. Вместо них Джексон ра-
зодрал несколько мучных мешков, а акушерка научила его пеле-
нать, вот и все. Я тогда же выкроила несколько пеленок и от-
несла их ему. Он опять нанял негра, помогать отцу в поле, а
сам варил, стирал и нянчил дитя, доил козу, чтобы кормить
его. Я ему еще сказала:

«Джексон, давайте я его возьму к себе. Или пусть он хотя
бы побудет у меня, пока грудной. Вы тоже можете переселить-
ся к нам, если хотите, а он лишь глянул на меня — малень-
кий, щупленький, исхудалый весь так, словно никогда в жизни
не ел досыта,— и говорит: «Спасибо, мэм, я справлюсь сам».

— И справился,— подхватил рассказ мистер Прайт.— Не
знаю, каким работником он был на мельнице, а фермы настоя-
щей он не имел, чтобы судить, какой бы из него получился фер-
мер, но ребенка он выводил.

— Да,— согласилась миссис Прайт.— Так вот я продолжа-
ла надеываться к ним.

«Мы даже не знали, что вы женились»,— как-то сказала
я ему.

«Да, что вы,— ответил он,— мы поженились еще в про-
шлом году. Она умерла от родов».

«А кто она? — спросила я.— С Французовой Балки?»

«Нет,— ответил он.— Она пришлая, с долины».

«Как же ее звали?»

«Миссис Смит»,— ответил он.

— Ну, у него и времени-то не было, чтобы научиться
лгать,— заметил Прайт.

— В общем, он выводил ребенка. Когда у них случился
неурожай, он отпустил негра, а следующей весной сам вместе
с отцом пахал и сеял, как обычно. Он сделал нечто вроде ран-
ца, наподобие тех, какие делают индейцы, чтобы носить детей
за спиной. Я иногда приходила к ним, когда земля еще не от-
таяла, и видела, как Джексон и старик отец вырубает кустар-
ник, расчищая землю, а ранец висит на столбе у забора с маль-
чонкой, спеленатым и спящим стоймя слаще, чем в пуховой по-
стельке. Той же весной он научился ходить. Я частенько стоя-
ла у ограды и видела, как этот шпингалет топают ножками по
борозде, стараясь нипочем не отстать от Джексона, пока тот
не остановится с плугом, чтобы развернуться и начать новую бо-
розду, и не подхватит его себе на плечи и продолжит пахать
вместе с ним. А к концу года он уже ходил всюю. Джексон со-

орудил ему маленькую мотыгу, насадив на палку небольшую железяку, и можно было наблюдать, как Джексон окучивает хлопчатник высотой по пояс, мальчонку же за хлопком не видать совсем, только листья колышутся там, где он машет мотыгой...

Джексон сшил ему рубашонку со штанишками, он сам их прострочил от руки. Я тоже изготовила несколько рубашек и отнесла их ему. Я в жизни своей никогда не шила, а тут пришлось. Он взял их и сказал спасибо. Но вам бы следовало услышать, как это было сказано. Похоже, что земле и той он завидовал за то, что не он один кормит ребенка, а она тоже. Я попробовала как-то уговорить его отнести ребенка крестить в церковь.

«Он уже крещеный,— ответил Джексон.— Зовут его Джексон и еще Лонгстрит Фентри. Отец уже привык к обоим именам».

— Он ни разу не отлучался из дому,— сказал Прайт.— Потому что, где был Джексон, там был и мальчонка. Если бы он украл его во Французовой Балке, то и тогда он не мог бы лучше его охранять. Даже за продуктами в магазин на Хэвенский холм ходил старик. Только раз Джексон и мальчик, жившие одной душой, разлучились — это когда Джексону пришлось поехать в Джефферсон, платить налоги. Я тогда зашел к ним и вижу: мальчонка сидит под кроватью молчком, забывшись в самый угол, и поглядывает оттуда на меня, не мигая. Ну точно волчонок, которого только вчера принесли из лесу.

Прайт вытащил из кармана табакерку, высыпал из нее мерку табаку в крышечку и положил в рот, тщательно постукивая по крышке ногтем, чтобы ни крошки не просыпалось.

— Так, хорошо,— сказал дядя Гевин.— Что же дальше?

— Вот и все,— сказал Прайт.— А следующим летом их уже не было. Они исчезли.

— Исчезли?!

— Именно так. Они, должно быть, ушли однажды утром, а может, днем, в общем, я не знаю когда. Как-то раз я не выдержал и пошел к ним проведать: дом оказался пустым. Я пошел на поле, где пахал старик; вначале я было решил, что это сломанный разбрасыватель висит у него меж рукояток плуга, пока он не увидал меня и не сорвал эту штуку с плуга, и тут я разглядел, что это охотничье ружье. Думаю, сказанное им в тот вечер ничем не отличалось от того, что вы услышали сегодня, когда заходили к ним во двор. А на другой год негр опять помогал старику. Потом, лет пять спустя, Джексон вернулся. Но уже один. Не знаю, когда он точно вернулся, но однажды утром я увидел его и пошел к нему на поле, где он в

это время пахал. Я встал у ограды и начал дожидаться, пока борозда, которую он вел, не привела его прямо ко мне. Но он так и не поднял головы и прошел мимо меня в каких-нибудь десяти футах, потом повернул мула обратно и начал новую борозду. Тут я его окликнул:

— Джексон, он что, умер?

Лишь тогда он взглянул на меня.

— Тот мальчонка, — пояснил я.

А он только сказал:

— Какой мальчонка?!

Прайты пригласили нас отобедать. Но дядя Гевин поблагодарил их и отказался.

— Мы кое-что из еды прихватили с собой, — сказал он. — До лавки Уорнера почти тридцать миль, да еще двадцать до города. А наши дороги совсем еще не приспособлены для автомашин.

До лавки Уорнера в деревушке Французова Балка мы добрались лишь на закате. Здесь снова какой-то человек встал с пустой галереи и спустился к нам.

Им оказался Исхем Квик — очевидец, первым прибежавший на место происшествия, большой долговязый мужчина лет сорока пяти с лицом на вид сонливым и близорукими глазами, пока вы не взглянете в них и не заметите, как где-то в глубине их порой мелькнет что-то пронизательное и даже чуточку лукавое.

— Я жду вас, — сказал он. — Похоже, что вас посадили в калошу. — Он, прищурясь, глянул на дядю Гевина. — Вот так Фентри!..

— Так уж получилось, — отвечал дядя Гевин. — Вы-то почему меня не предупредили об этом?

— Так я и сам-то ничего не знал до самой последней минуты, пока не услышал, что ваши присяжные разошлись во мнении, причем один человек против, и тогда только я вспомнил имена...

— Имена!.. Какие имена... Впрочем, ладно, рассказывайте.

Итак мы уселись на галерее перед запертой опустевшей лавкой Уорнера, и, пока цикады пронзительно стрекотали на деревьях, а жуки-светляки, тускло мерцая, пролетали над пыльной дорогой, Квик рассказывал, развалившись на скамейке рядом с дядей Гевинем, весь какой-то развинченный, словно его, когда он пойдет домой, придется собирать по частям; рассказывал ленивым, насмешливым тоном так, будто торопиться некуда — впереди целая ночь, а он намерен проговорить до утра. Однако рассказ оказался не столь длинным, хотя и был достаточно длинен, чтобы поведать о главном. Дядя Гевин как-то говорил, что не так уж много слов нужно, чтобы поведать о сущ-

ности человеческой жизни, что какой-то мудрец сказал об этом в пяти словах: люди родились, страдали и умирали.

— Отец, это он его нанял. Но когда я узнал, откуда он родом, я понял, что работать он будет не за страх, а на совесть, ибо жители тех мест, откуда он пришел, не имеют времени, чтобы научиться чему-либо иному, кроме усердной работы. И по той же причине я понял, что он человек честный: ведь в их местности нет ничего такого, что может развратить человека, ничего из того, что приучило бы его воровать. Единственное, чего я, кажется, не учел, так это его способности любить. Я считал вполне уверенно, принимая во внимание местность, где он родился, что он никого еще не любил и что даже само понятие о любви отбросило бы его на несколько поколений назад, к тем далеким предкам, когда первый из них уже должен был раз и навсегда сделать выбор между борьбой за личное счастье и борьбой за существование.

Итак он приступил к работе и делал ту же самую работу за ту же самую плату, что и негры. Поздней осенью, когда речка пересыхает, а мельница закрывается на зиму, я узнал, что он сговорился с отцом остаться на мельнице до весны в качестве сторожа, выговорив себе три выходных дня, чтоб съездить домой на рождество. Он пробыл на мельнице зиму, а уже следующей весной, когда мы пустили мельницу в ход, он столько успел научиться и так привязался к делу, что к середине лета стал управляться на мельнице совсем один, без нашей помощи, да так, что к концу лета отец вообще перестал бывать на мельнице, а я, если и заходил туда, то раз в неделю, как вздумается. Осенью отец стал поговаривать даже о постройке какого-нибудь жилья для него, вместо соломенного тюфяка и старой, разбитой кухонной плиты, что стояла под навесом рядом с паровым котлом. На вторую зиму он опять остался. Ходил ли он в этот раз домой на рождество или нет, мы не знаем, если и ходил, то нам неизвестно, когда ушел и когда вернулся, потому что я и то не был у него на мельнице почти с самой осени.

Потом как-то в феврале наступило затишье, и я почувствовал беспокойство и поехал туда. Первое, что я увидел, была женщина (впервые за свою жизнь я так опростоволосился) — молодая и даже, видимо, когда не была в положении, красивая — не знаю. Теперь же она была не просто худой, а прямо тощей. И была не просто в положении, а больной, хотя и держалась на ногах и ожидала ребенка, ну самое большее через месяц. Я спросил Джексона: «Кто это?»

А он взглянул на меня и говорит: «Моя жена!»

Я ещё вопрос: «Давно ли? Ведь всего осенью у тебя никакой жены не было, а тут скоро ребенок?»

А он мне в ответ: «Вы хотите, чтобы мы уехали?»

Я сказал: «Кто говорит «уехать»?»

Теперь я расскажу вам то, о чем я узнал уже после, через три года, от ее двух братьев, которые приехали сюда с исполнительным листом, и о чем он сам мне никогда не рассказывал, потому что вообще не отличался особой разговорчивостью.

— Так, продолжайте... — сказал дядя Гевин.

— Не знаю, где он ее подобрал. Нашел ли он ее, или она сама однажды днем, а может, вечером явилась на мельницу, и тут он ее увидел и полюбил; говорят, от любви, как от молнии, никуда не спрячешься, никто не знает, где и когда они вас настигнут, известно лишь, что они никогда не бьют дважды в одно и то же место, потому что там после первого раза ничего не остается. Не думаю, чтобы она искала мужа, который ее бросил. Он-то, наверное, убежал сразу же, как только она ему сказала насчет ребенка. И не думаю, что она боялась или стыдилась вернуться в отчий дом только потому, что отец ее и братья не хотели, чтобы она выходила за такого человека замуж. Думаю, что тут скорее всего сыграла свою роковую роль та испанская, без высокой культуры, но чрезмерно жестокая родовая спесь или гордость, которая заставила двух ее братьев чуть ли не с час бесноваться здесь в тот день.

Так или иначе, но она оказалась тут и, надо полагать, знала, что ей скоро родить. Представляю, как он говорит ей: «Давай поженимся», — а она отвечает: «Не могу, я уже замужем».

Пришло время родов, и она слегла на тот же самый соломенный тюфяк, а он, по всей видимости, кормил ее с ложки, и мне кажется, что она прекрасно понимала, что ей уже больше не подняться. Фентри вызвал акушерку, ребенок родился, и, видимо, обе (она и акушерка) знали к тому времени, что ей уж никогда больше не встать с этого матраца; они, может, убедили ее в конце концов, а может, она, понимая, что ничего от этого не изменится, сказала «ладно!», — он взял у моего отца мула, что всегда находился на мельнице, съездил за семь миль за отцом-проповедником Уайтфилдом, привез его средь бела дня на мельницу, и тот сочетал их законным браком, и она умерла, так что Уайтфилду пришлось тут же и отпевать ее. Тем же вечером Джексон пришел к нам домой и сказал отцу, что уходит с мельницы, и оставил мула у нас. Несколько дней спустя я побывал там, но его уже не застал — лишь соломенный тюфяк, кухонная плита, тарелки, плошки, мамина сковорода оставались на месте — чисто вымытые и аккуратно расставленные по полкам. Только через три года, летом два брата Торпы...

— Торпы?! — сказал удивленно Гевин. Сказал тихо. Было темно, и я не мог судить о выражении его глаз. — Рассказывайте, Бен, дальше, — промолвил дядя Гевин.

— Да, Торпы, такие же, как она, смуглые, черноволосые; тот, что помоложе, был прямо вылитой копией. Они приехали в коляске вместе с помощником судебного исполнителя, или самим судебным исполнителем, или кем он там был еще, и бумагой, всей исписанной, со штампами, и печатями, все гербовыми, официальными. Я им сказал: «Так делать нельзя. Она пришла сюда по доброй воле, больная, без ничего, он ее принял, ухаживал за ней, помог ей при родах, похоронил по обряду. Они даже поженились перед самой ее смертью. Это могут засвидетельствовать акушерка и священник».

И тогда старший брат говорит: «Он не мог на ней жениться — у нее был муж. О нем мы уже позаботились».

Я говорю: «Ну хорошо. Он взял себе ребенка потому, что никто на это не претендовал. Он одевает его, кормит и поит вот уже три года».

Тогда старший брат стал вытаскивать из кармана кошелек с деньгами, вытянул его наполовину, а потом опустил назад в карман. «Мы, — говорит, — заплатим ему за это, когда увидим ребенка».

Я уже не раз в жизни сталкивался с несправедливостью в этом мире, поэтому сказал: «Это далеко отсюда, почти в тридцати милях, в предгорье». Я думаю, вам лучше заночевать здесь, а завтра чуть свет тронуться в путь, да и коням надо дать отдых». А старший глянул на меня и говорит: «Ничего, мы не устали. Отдыхать будем после».

«Тогда я тоже поеду с вами», — сказал я.

«Что ж, милости просим», — ответил он.

Ехали мы до полуночи, затем сделали остановку. Ага, подумал я, может, мне теперь удастся улизнуть от них. Но когда мы распрягли лошадей и улеглись спать на траве, старший брат остался сидеть.

«Мне не хочется спать», — сказал он, — я посижу немного».

Так что все оказалось бесполезно, и я отправился спать, когда проснулся, то солнце уже взошло и сделать что-либо было поздно. В середине утра мы подъехали к почтовому ящику с нанесенной на нем крупными печатными буквами фамилией, так что ошибиться было невозможно. Нас встретил пустой дом, вокруг ни души, пока мы, услышав звук топора, не обошли дом сзади и увидели его. Он как раз поднял голову над поленицей дров и увидел то, что, мне сдается, ожидал увидеть каждый раз, как солнце всходило на протяжении всех этих трех лет. Потому что он даже не прервал свою работу. Он только

крикнул мальчику: «Беги! Беги на поле к дедушке! Скорей!» — и направился прямо к старшему брату с поднятым над головой топором и начал уже опускать его и опустил бы, если бы я не подоспел вовремя и не ухитрился схватить его за руку в тот самый момент, когда старший кинулся к нему и мы вдвоем оторвали его от земли, держа или точнее пытаюсь удержать его в руках.

«Стой, Джексон, стой! — говорил я. — Стой! На их стороне закон!»

Вдруг что-то маленькое преобильно ударило меня по ноге и начало кусаться и царапаться. Это маленький мальчонка, не издавая ни единого звука, вертелся, как юла, у наших ног и бил всех маленьким березовым полешком из только что наколотых Джексонем дров, бил по тем местам, куда мог достать.

— Хватайте его и тащите в коляску! — закричал старший брат. Младший поймал мальчика и потащил в сторону, но справиться с ним было так же трудно, как и с Фентри. Мальчонка продолжал драться и вырываться изо всех своих силенок все так же молчком, пока младший нес его к коляске. Фентри так же рвался и бился за двоих до тех пор, пока младший с мальчонкой на руках не скрылся в коляске из виду. Тут он потерял сознание. Он весь как-то обмяк, словно кости его превратились в желе, и мы со старшим братом опустили его на поленницу. Он лежал спиной на дровах, которые перед этим колот, и часто тяжело дышал, на губах его выступила пена.

— Это же закон, Джексон, — повторял я. — У нее муж еще жив.

— Знаю, — ответил он, да так, что шепот и тот был бы громче. — Я ждал этого. Это произошло только потому, что они захватили меня врасплох. Но теперь все прошло...

— Очень жаль, что так получилось, — сказал старший брат. — Мы долго искали его, но только на прошлой неделе узнали, что он здесь. Он наш ребенок, наша кровь, и мы хотим взять его к себе домой. Вы хорошо смотрели за ним. Мы благодарны вам за это. Мать его, покойница, благодарит вас. Вот возьмите...

И он вытащил из кармана кошелек, полный денег, и вложил его в руки Фентри. Потом повернулся и пошел. Я услышал, как коляска развернулась и покатила под гору. Слышал ли это Фентри или нет, не знаю.

— Таков закон, Джексон, — сказал я. — Но закон, что дышло. Вот поедем в город и поговорим с адвокатом Стивенсом; я сам поеду с тобой.

Через некоторое время Фентри поднялся и сел на поленнице; поднимался он с трудом, словно деревянный. Он уже пере-

стал дышать часто и выглядел значительно лучше, если бы не глаза — они смотрели отрешенно. Затем он поднял руку, в которой лежал кошелек с деньгами, и начал им вытирать лицо, словно носовым платком. Я не допускаю и мысли, что в эту минуту он сознавал, что находится в его руке, ибо он опустил руку и долго, секунд двадцать, разглядывал кошелек, а затем кинул — не цвырнул, а именно кинул, как кинули бы вы комок грязи, желая посмотреть, как он шлепнется, — кинул за поленницу, потом встал и пошел через двор в лес, медленно, не топясь, на вид всего лишь мальчик.

— Джексон! — окликнул я его.

Но он даже не оглянулся.

Я остался ночевать у Руфуса Прайта, а утром выпросил у него на время мула; я сказал ему, что хочу осмотреть окрестности — мне не хотелось никому ничего рассказывать. На следующее утро я привязал мула к воротам Фентри и направился по дорожке к дому. Вначале я вообще не видел старика-отца на галерее. А когда увидел, то он уже бежал ко мне настолько стремительно, что я и разглядеть не успел, что у него в руках, пока до меня не донеслось: «Бум!» — и я услышал, как по листве над моей головой часто застучала дробь, а стоявший у ворот мул старался не меньше как оторвать уздечку или повеситься на воротах.

Прошло много лет. И вот однажды, спустя месяцев шесть, как Бук Торп поселился здесь, во Французовой Балке, чтобы подвести итоги своим бесконечным дракам, пьянству и мошенничеству со скотом, и сидел вот на этой галерее, сидел, как всегда пьяный, и трепал языком в окружении пяти-шести своих сверстников, которых он время от времени, когда в этом возникала необходимость, бил то в честной драке, то иным путем; сидел и трепался, прерывая свою трепотню и смех только затем, чтобы перевести дыхание, я поднял голову и увидел на дороге Фентри. Он сидел на муле.

Он просто сидел и смотрел на Торпа — пыль лепешками застыла на вспотевшем за время тридцатимильного пути муле. Сколько времени провел Фентри вот так, не знаю — он просто сидел на муле, ничего не говоря, и смотрел на Торпа, потом повернул мула обратно и поехал назад в свои горы, которые ему никогда бы не следовало покидать. В общем, как говорится, от любви и от молнии никуда не спрячешься. Не понимаю, как это я тогда не связал вместе их имена. Ведь чувствовал же я, что Торп мне знаком давно, но то были дела двадцатилетней давности, поэтому я о них совсем забыл и не вспоминал до тех пор, пока не услышал, что ваши присяжные

раскололись. Конечно, Фентри никак не мог согласиться с оправданием Букрайта... Уже поздно... Пойдемте-ка ужинать...

Но теперь нам до города оставалось всего двадцать миль, причем по хорошей дороге, и чтобы добраться до дома, нам хватило бы и часа, поскольку мы могли гнать автомашину со скоростью тридцать, а то и тридцать пять миль в час, поэтому мы помчались вовсю домой.

— Нет, он, конечно, не мог, — сказал дядя Гевин. — Униженный, но непокоренный, вынужденный терпеть и еще раз терпеть, терпеть изо дня в день, сегодня, завтра, послезавтра... Нет, он, конечно, не мог оправдать Букрайта.

— А я бы смог, — заявил я. — Я бы оправдал его. Потому что Торп был плохим. Он...

— Нет, и ты бы не смог, — возразил дядя Гевин, положив мне руку на колени, хотя мы мчались на самой большой скорости. Желтый луч света бежал по дороге, светлячки кружились у фар и отлетали прочь.

— Это был не Бук Торп — взрослый мужчина. Последний тут же пристрелил бы Букрайта, так что тот и пикнуть бы не успел. Но он этого не сделал и только потому, что где-то в этом испорченном, превращенном в зверя человеке все еще оставалось что-то, если не в душе, то по крайней мере в подсознании от того мальчонки, от Джексона и Лонгстрита Фентри, хотя, может быть, этот человек, какой из мальчика вырос, не знал и не догадывался об этом, а знал только Фентри. Так что ты тоже не смог бы оправдать Букрайта. Никогда не забывай об этом. Никогда!

МОНК

Попробую рассказать вам о Монке. Я в самом деле намерен попробовать, намерен попытаться увязать между собой те противоречия, которые имелись в его короткой, жалкой и ничем не примечательной жизни для того, чтобы разобраться в ней, причем не только использовать для этого лишенные точности методы догадок, предположений и дедукции, но и их-то применить к тем далеко не полным и лишенным точности сведениям, что он оставил после себя. Ибо только в литературе бывает так, что парадоксальные и взаимоисключающие обстоятельства в поступках людей можно сопоставить и силой искусства сплести в нечто достоверное.

Он был дурачок, возможно, даже кретин, так что вообще не подлежал судебной ответственности, но в те времена, когда слу-

шалось его дело, у нас окружным прокурором был очень молодой, метивший в конгресс человек, а у Монка не было ни друзей, ни денег, ни даже приличного адвоката, потому что я никогда не поверю, что он (Монк) знал, зачем тот ему нужен или что таковой вообще существует. Потому-то именно судья сам назначил ему защитника — какого-то юнца, только что окончившего школу права и принятого в адвокатуру, который знал о процессуальной практике уголовного суда лишь немногим больше Монка и который, видимо, признал виновность парня по указанию судьи, а может, просто запямятовал, что имеет право ходатайствовать перед судом о признании подсудимого невиняемым, ведь Монк ни разу не отрицал, что убил именно он.

По сути, его и удержать было нельзя от непрерывного утверждения и повторения этого факта во множестве раз. Нет, он не хвастался содеянным, как и не раскаивался в нем. Скорее можно было подумать, что он все время пытается произнести речь: сначала перед людьми, которые его задержали возле трупа до прихода шерифа, потом перед помощником шерифа, тюремным надзирателем, заключенными (теми случайно оказавшимися в камере неграми, которые сидели за азартные игры, за бродяжничество или незаконную продажу виски); перед мировым судьей, предавшим его суду присяжных; адвокатом, назначенным судьей, и, наконец, перед судом и присяжными. И часа не прошло с момента убийства, а он уже не мог вспомнить, где это произошло и кого он, по собственному признанию, убил. Жертвой своей он называл (это после всякого рода подсказок и наводящих вопросов) то одного, то другого из числа тех, кто был жив и здоров, а раз даже указал на человека, который находился тут же, в зале суда. Однако он ни разу не отрицал, что кого-то убил. То не было упорство, а была лишь спокойная констатация факта, когда он пытался — голосом мягким, звучным и проникновенным — что-то рассказать, старался произнести свою речь, в которой не было ни начала, ни конца и которую никто не хотел выслушать полностью. Он не раскаивался, не старался привести смягчающие вину обстоятельства, чтобы избежать ответственности за содеянное. Казалось, будто он хочет высказаться, используя представившуюся возможность, с тем, чтобы ликвидировать ту пропасть, которая существовала между ним и окружающим миром, миром живых людей; между ним и огромной, пребывающей в тяжких муках земель, — свидетельством сказанному здесь служит та странная речь, которую он произнес через пять лет перед смертной казнью.

Сказать по правде, то ему вообще не стоило появляться на белый свет. Он пришел или, вернее, вышел (там ли он родился

или в другом месте, никто этого не знал) из глухого горного района нашего округа, района, куда двадцать пять лет назад — а Монку как раз было около двадцати пяти лет — и дорог-то почти не было и куда даже шериф округа ни разу не отважился заглянуть; района дикого и неприступного, населенного замкнутыми кланами, которые ничего и никого не признавали и которых никто из посторонних не видел до самых последних лет, когда современное шоссе и автомобили пробили брешь в этой зеленой цитадели, где жители с их искаженными ирландско-шотландскими фамилиями смешались между собой, гнали самогон и убивали из-за бревенчатых сараев и извилистых изгородей всякого чужака. Хорошее шоссе и «форды», это они не только привезли Монка в Джефферсон, но и притащили за собой, словно дымный шлейф, кое-какие сведения о его происхождении. Потому что даже люди, среди которых он вырос, знали о нем не больше, чем мы с вами; историю о некой старухе, которая даже среди этих страшно замкнутых людей жила отшельницей в своей бревенчатой избе, всегда держа наготове прямо в углу за дверью заряженное ружье; жила вместе с сыном, который даже для такого местечка и его жителей был явлением из ряда вон выходящим.

Он кого-то убил и бежал и скрывался неизвестно где почти десять лет, а потом однажды вернулся вместе с какой-то женщиной с жесткими, светлыми, с каким-то металлическим отливом, по модному зачесанными волосами и резкими чертами белого лица городской жительницы, которую видели издали: она расхаживала по двору или просто стояла в дверях и взидала на зеленое безмолвие лесов с выражением холодной и злобщей загадочности на лице — и беспощадности также, с тем, однако, отличием от змеиной беспощадности, что здесь разили без предупреждения. Потом оба куда-то исчезли. Никто не знал, когда они уехали и почему, как не знали, когда и зачем приехали. Поговаривали, что однажды вечером та старуха, миссис Олдетроп, порядком поколотив их своим ружьем, вывела их дому и прогнала за околицу.

Итак они уехали, и прошло несколько месяцев, прежде чем соседи обнаружили, что в доме остался малый ребенок, совсем еще дитя (привезли ли они его с собой или он родился здесь — этого опять-таки никто не знал). Это и был Монк. Рассказывали также, как шесть или семь лет спустя соседи учуяли, как из избы несет трупным запахом; несколько человек зашли в дом и обнаружили старуху, миссис Олдетроп, вот уже с неделю как умершую, а возле — малое дитя, в одной сшитой из матрасной наволочки рубашонке, которое старалось поднять ружье, стоявшее в углу за дверью. Им не удалось схватить

Монка, то есть им не удалось это сделать с первого раза, а другого случая у них уже не оказалось. Однако он не убежал насовсем. Соседи чувствовали, что он где-то поблизости, наблюдает и следит за тем, как обмывают умершую старуху, готовясь предать ее земле; знали, что он смотрит на них из-за кустов во время похорон. Потом на какое-то время соседи потеряли его из виду, хотя знали, что он обитает где-то поблизости. На следующее воскресенье они обнаружили подкоп, который он — палкой и голыми ручонками — сделал в старухиной могиле. Он уже успел выкопать изрядную нору к этому времени. Ее забросали землей и той же ночью устроили засаду, чтобы поймать и накормить его. Но не тут-то было. Они не сумели удержать это маленькое, яростно вырывающееся, уже совсем нагое тельце семилетнего ребенка, которое, извиваясь, выскользнуло, словно салом намазанное, из рук поимщиков и без единого звука скрылось. После этого кое-кто из соседей стал носить ему еду в опустевший дом, но больше они его не видели. Они только слышали спуская несколько месяцев, что он живет у одного бездетного вдовца, старика Фрезера, известного всем самогонщика. У него он, судя по всему, и прожил те десять лет, пока сам старик не умер. Надо думать, это Фрезер дал мальчику прозвище Монк (Монах), которое он привез с собой в Джефферсон, поскольку никто никогда в жизни не знал, как старая миссис Олдетроп окрестила его, а теперь все местечко знало его под этим именем, или, лучше сказать, привыкло к нему, к этому невысокого роста парню, уже начавшему полнеть, точно ему не восемнадцать лет, а все тридцать шесть, с лицом уродливым, глубокомысленно глупым и наивным, черты которого, не выражение, видимо, навели Фрезера на мысль дать прозвище — Монах! — парню, который с беззаветной преданностью собаки полюбил человека, давшего ему кров и пищу и научившего его за десять лет гнать самогон, говорят, почище своего опекуна, старика Фрезера.

Да, это единственное, чему он научился — гнать самогон и продавать самодельное виски там, где оно было запрещено законом, поэтому должно было производиться втайне, что еще больше увеличивает необычайность того публичного заявления, которое он сделал, когда пять лет спустя ему надели на голову черный колпак смертника за убийство начальника тюрьмы. В общем, все, что он умел делать, так это гнать виски и любить беззаветно человека, который поил и кормил его и научил, что делать и как делать, где и когда; вот почему, когда после смерти Фрезера какой-то шутник, неважно кто, проезжая мимо на грузовике или легковом автомобиле, сказал ему: «Ну, Монк, садись!» — он сел точно так, как это сделала бы бездомная

собака, и приехал в город Джефферсон. На сей раз приютом ему стала служить расположенная в двух-трех милях от города бензозаправочная станция, где он спал в задней комнате на койке, если на ней не валялся какой-нибудь пьяный клиент, который не мог больше ни управлять машиной, ни идти пешком до города. Здесь Монк научился заправлять бензином машины и сдавать правильно сдачу, хотя основная его работа состояла главным образом в том, чтобы запомнить точно, где, в каком месте песчаного рва, проходившего в пятидесяти ярдах от станции, зарыты полпинтовые бутылки виски. Его уже знали в городе по дешевой кричащей одежде, ради которой он сбросил свой комбинезон: по цветастым рубашкам, что линяли после первой же стирки, соломенным в лентах шляпам, которые расползались при первом же дожде, остроносым туфлям, что тут же разваливались на его массивных ногах. Он был спокойный малый, глухой к оскорблениям, любящий поговорить (было бы только кому слушать) с тем глубокомысленным и глупым видом на бледном даже после загара лице, на котором были одновременно написаны мечтательность и лукавство.

Семь лет мы знали его до той субботней ночи, когда на земле за бензозаправочной станцией нашли убитого человека (его смерть не явилась для кого-либо тяжелой утратой, но, как я уже говорил, у Монка не было ни друзей, ни денег, ни приличного адвоката), а возле него с пистолетом в руках Монка (правда, тут же стояли два приятеля убитого, вместе с ним пьянствовавшие в тот вечер), который старался о чем-то рассказать тем, кто его задержал, потом помощнику шерифа взволнованным, приятным голосом, словно звук выстрела разрушил наконец стену, за которой он жил двадцать пять лет, точно труп послужил тем мостиком, по которому он прошел через пропасть, отделявшую его от окружающего мира живых людей.

Потому что он имел понятие о смерти не больше, чем бессловесное животное — о смерти человека, чей труп лежал у его ног, а впоследствии начальника тюрьмы и своей собственной. Труп, что лежал у ног его, был для него просто чем-то таким, что никогда больше не будет есть, говорить или ходить и поэтому ни для кого не будет источником ни добра, ни зла, как не будет от него ни толка, ни пользы.

Монк не понимал, что такое тяжелая утрата или безвременная кончина — ему было жаль убитого, но и только. Вряд ли он сознавал, что от лежащего здесь человека потянулась цепочка, началось возмездие, что кому-то придется платить. Ибо эн ни разу не отрицал, что убил именно он. Правда, отрицание не принесло бы ему особой пользы, поскольку два приятеля убитого находились тут же и под присягой показали на него

как на убийцу. Да он и не отрицал, хотя не мог даже толком объяснить, как произошло дело, из-за чего вспыхнула ссора, а спустя некоторое время даже не мог указать, как я уже говорил, где это случилось и как зовут того, кого он, по собственному признанию, убил (раз он даже назвал, о чем я тоже уже говорил, человека, находившегося в эту минуту тут же, среди толпы, ввалившейся вместе с ним в камеру мирового судьи). Он лишь все время порывался что-то сказать, порывался рассказать о чем-то таком, что сидело в его душе в течение двадцати пяти лет, а он только сейчас, наконец-то, нашел возможность (а может быть, слова), чтобы раскрыть свою душу, точно так же, как пять лет спустя перед самой казнью он наконец найдет случай, выберет момент высказаться, чтобы установить ту связь с огромной и дряхлой, пребывающей в тяжких муках землей, которую прежде он так хотел установить, но не мог этого добиться только потому, что лишь пять лет спустя его научили, как, какими словами выразить это стремление.

Ему сохранили жизнь. Это был один из самых коротких судебных процессов, когда-либо слушавшихся в нашем округе, ибо, как я уже говорил, никто не сожалел об умершем и никому (за исключением моего дяди) не было дела до Монка.

Он никогда до этого не ездил в поезде. Он вошел в вагон, прикованный наручниками к помощнику шерифа. На нем был новый комбинезон, который кто-то (возможно, суверенный штат, чье общественное спокойствие и достоинство он нарушил) выдал ему, и новая все еще сохранившая первородную свежесть (а он сидел в тюрьме более шести недель) соломенная, наподобие панамской, шляпа с яркой лентой, которую он купил накануне рокового дня. Его место в вагоне оказалось возле окна, и он сидел, повернувшись своим слегка одутловатым, толстоцеким, глупым лицом к нам, и махал одними пальцами свободной от наручников руки, высунутой в окно, как это делают маленькие дети, до тех пор, пока поезд не тронулся и не начал медленно набирать ход — огромный, грязный от колоты и пыли поезд, лягая буферами, навсегда увозивший его от нас в наглухо зарешеченном вагоне, оставлял в нашей душе чувство непоправимости более неизменное, чем если бы мы собственными глазами видели, как ворота тюрьмы закрылись за ним навсегда и никогда больше не откроются, а он, маленький, бледный, смотрел на нас сквозь грязные стекла вагона, вытянув шею, чтобы лучше видеть, все еще сохраняя на лице, степенном и важном, недоуменное выражение без каких-либо следов тревоги и волнения.

Через пять лет один из приятелей убитого, который был вместе с ним в тот субботний вечер, признался на смертном

одре, что это он тогда застрелил, а затем сунул в руки Монку пистолет, сказав ему: «Смотри, что ты наделал!»

Мой дядя Гевин выхлопотал Монку помилование. Он написал прошение, собрал требуемые подписи, послал его в столицу штата и, получив обратно подписанное и утвержденное губернатором помилование, сам отвез его в тюрьму, где и сообщил осужденному, что тот свободен. Монк смотрел на него некоторое время с недоумением, а поняв, расплакался: он не хотел уходить из тюрьмы. К этому времени он уже был расконвоирован и ходил свободно: и уже успел перенести на начальника тюрьмы ту собачью преданность, с какой когда-то любил старика Фрезера. Он ничему в детстве, кроме как гнать и тайно продавать самогон, не научился, правда, в городе его научили подметать и убирать заправочную станцию. Именно этим он и занимался в тюрьме; теперь его жизнь, должно быть, чем-то была схожей с тем временем, когда он ходил в школу. Он подметал и убирал в доме начальника тюрьмы не хуже заправской уборщицы; жена начальника научила его вязать — плача, он показывал моему дяде недовязанный свитер, который собирался подарить начальнику тюрьмы в день рождения, а чтобы довязать свитер, требовалось еще несколько недель.

Итак, мой дядя вернулся ни с чем. Он привез помилование обратно с собой, не порвал и не выбросил его потому, что оно, как он сказал, зарегистрировано, и что теперь главное посмотреть все законы и кодексы, чтобы выяснить, можно ли человека выкинуть из тюрьмы просто так, как могут, скажем, студента исключить из колледжа. Однако, на мой взгляд, дядя просто надеялся, что, быть может, однажды Монк возьмет да изменит свое решение, вот та причина, почему, мне кажется, дядя не выбросил сей документ.

И вдруг Монк сам попытался, без посторонней помощи, освободить себя из тюрьмы. Это случилось спустя ровно неделю после того, как дядя Гевин говорил с ним, — дядя Гевин вряд ли даже успел решить, куда понадежнее спрятать акт о помиловании, чтобы не повредить сургучную печать, когда пришла эта весть. На следующий день ее сообщили все мемфисские газеты, но мы узнали обо всем еще накануне вечером по телефону: «Монк Олдетроп при попытке к бегству хладнокровно застрелил начальника тюрьмы из его же пистолета...»

На сей раз никаких сомнений не было — дело произошло на глазах у пятидесяти человек. Заключенные, не принимавшие участия в побеге, сбили его с ног и отняли пистолет. Да, именно Монк, тот самый человек, который всего неделю назад плакал, не желая уходить, когда дядя Гевин сказал ему, что он свободен, теперь совершает попытку к бегству и убивает при

этом начальника тюрьмы, того самого человека, которому вязал на день рождения свитер, и в слезах умолял дать ему возможность закончить его — причем убивает столь хладнокровно, что его сообщники и те набрасываются на него, потрясенные, и разоруживают.

Дядя Гевин снова поехал в тюрьму. Теперь Монк сидел в одиночке, в камере смертников. Он по-прежнему продолжал вязать свитер, работая на совесть, как заметил дядя, так что тот был почти готов.

«У меня осталось всего три дня,— заявил Монк,— так что я не могу тратить время попусту».

«Но как же так, Монк, зачем ты это сделал?» — спросил дядя. Дядя сказал, что спицы в руках парня не дрогнули, их мелькание не изменило свой ритм, даже когда Монк взглянул на дядю с выражением спокойствия, приветливости и чуть ли не восторженности на лице. Потому что Монк не знал и не понимал, что такое смерть. Я уверен, что в сознании своем он не связывал валяющуюся под его ногами падала за бензозаправочной станцией тем субботним вечером с человеком, который только что ходил и разговаривал, или труп, распростершийся на земле у колючей проволоки, с человеком, которому он вязал свитер.

— Я знаю, гнать и продавать самогон нехорошо! — заявил Монк. — Но дело-то не в этом... Я вот... — Он взглянул на дядю Гевина. Лицо его все еще оставалось безмятежным, но на какое-то мгновение в нем что-то промелькнуло: нет, не сомнение или замешательство, а попытка что-то найти и выразить это словами.

— Ну так что же?.. — спросил дядя Гевин. — Дело не в том, а в чем же тогда? В чем?.. В вязании?

— Нет, не в этом, — ответил Монк, глядя на дядю Гевина. — Я помню, как я ехал в поезде, а парень в фуражке просунул голову в дверь и говорит: «Давай!» — а я спросил: «Чего давай? Сходить, что ли?» — а помощник шерифа ответил: «Нет!». Вот если бы я в вагоне ехал один без этого помощника и парень вошел бы и закричал, я бы и сошел...

— Ты сошел не там, где нужно? Так, что ли?.. Значит, ты теперь узнал, где надо сходить и что надо делать. Так?..

— Да, так, — ответил Монк. — Теперь я точно знаю, что делать.

— Что ты знаешь? Что ты узнал такого, что раньше никогда не слышал?

Монк ответил на этот вопрос. Три дня спустя он взобрался на эшафот, встал туда, куда ему приказали встать, и послушно, не дожидаясь команды, подставил голову палачу, нагнув ее

так, чтобы было удобней накинуть ему петлю на шею, и на его все так же спокойном и все так же восторженном лице опять появилось выражение, какое бывает у человека, который только ждет момента, чтобы заговорить.

Наконец, палач со своим помощником отступили назад. Монк, видимо, посчитав это за сигнал начинать, сказал:

«Я согрешил перед богом и людьми и поэтому должен страданиями искупить свою вину. И вот я теперь...— говорят, он произнес эту часть своей речи голосом звонким, чистым и ясным. Должно быть, эти слова звучали вопиюще громко и неопровержимо в его воспарившей душе, потому что он произнес это, уже находясь под черным колпаком смертника.— И вот я теперь выйду на волю, чтобы стать фермером и работать на полях в поте лица своего...»

Понятно?! Вряд ли тут что можно добавить!

Допустим, он знал, что это его последние слова перед смертью, — все равно в них нет смысла. Вряд ли он знал о полевой работе больше, чем о Стоунуолле Джексоне, и наверняка он никогда ей не занимался. Разумеется, он видел, как растет хлопок или пшеница, видел людей, которые работают в поле. Но ведь раньше-то у него никогда не возникало желания самому заниматься этим, потому что, если бы он захотел, то возможностей у него было более чем достаточно. И вдруг он резко меняет свои убеждения и взгляды и убивает ради этого человека, который хорошо относился к нему и, понимал ли это Монк или нет, избавил его от тюремного ада; убивает человека, на которого перенес всю свою собачью преданность и любовь и ради которого всего лишь за неделю до этого отказался выйти из тюрьмы, — и все это совершает во имя того, чтобы вернуться в этот мир и стать фермером, причем перемена во взглядах произошла за какую-то неделю, в то время как на протяжении пяти лет он вел жизнь более замкнутую и уединенную, чем какая-нибудь монахиня в женском монастыре. Хорошо, допустим, что его поступок явился логическим результатом работы сознания, которого у него почти не было; допустим также, что идея эта настолько сильно овладела им, что толкнула его на убийство своего лучшего и единственного друга. (Кстати, пистолет принадлежал начальнику тюрьмы, мы слышали о том, как тот хранил его у себя дома, как однажды пистолет пропал и он заподозрил в краже повара — негра, другого расконвоированного заключенного. Последнего сурово наказали, чтобы заставить признать в хищении, но ничего не добились; потом Монк нашел этот пистолет там, куда начальник, как он впоследствии вспомнил, положил его сам, так что оружие вернулось назад к своему законному владельцу.) Предположим, что так оно и бы-

ло, но как же тогда эта идея могла возникнуть в его дурацкой башке, каким образом желание обрабатывать землю охватило его в тюрьме? Вот о чем я спросил дядю Гевина.

— Все станет ясно в свое время, — ответил дядя Гевин. — Пока мы просто слишком мало знаем. Да и они тоже.

— Они, кто они?

— Ну те, ведь они повесили совсем не того, кто в действительности убил этого Гамбрелла — начальника тюрьмы. Они лишь казнили оружие преступления.

— Значит, вы знаете, кто настоящий убийца?

— Не знаю, да и вряд ли когда узнаю. Скорее всего. Однако так или иначе все разъяснится. В этом деле, хотя в нем и участвует круглый идиот, слишком много несуразиц. Видимо, совершеннейшая нелепица происшедшего и есть как раз та причина, почему мы не можем установить, в чем тут загвоздка.

Однако мы установили. Дядя Гевин нашел разгадку чисто случайно, и он никому об этом не рассказывал, кроме меня, и я скажу почему.

В те времена губернатором нашего штата был человек без роду и племени, происхождения чуть более ясного, чем у Монка. Прожженный политикан, он далеко бы пошел, если бы остался в живых (во всяком случае, в нашем округе многие, в том числе и мой дядя Гевин, опасались этого).

Года через три после казни Монка сей господин ни с того ни с сего провозгласил нечто вроде своего юбилея. В честь этого события он назначил дату созыва Совета по делам об амнистии при тюрьме штата и решил раздавать помилования заключенным точно так, как раздает дворянские титулы и ордена английский король в день своего тезоименитства. Разумеется, оппозиция сразу же заявила, что он просто решил открыто распродавать помилования, но дядя Гевин придерживался на этот счет другой точки зрения. Он сказал, что тут дело похитрее, чем полагают: приближаются выборы, так что губернатор не только получит голоса тех, кого он выпустит на свободу, но и поймает в силки разных пуристов и моралистов из оппозиции, которые вечно обвиняют его в коррупции, а тут губернатор уличит их в безосновательной клевете — ведь все решал Совет. Однако каждому было ясно, что Совет по делам о помиловании целиком в его руках, поэтому оппозиция в порядке протеста создала особые комитеты, представители которых присутствовали бы на сей раз на заседании Совета. Губернатор (ох, и хитрец!) эту меру одобрил целиком и полностью и, даже больше того, выделил делегатам округов транспорт.

Дядя Гевин оказался представителем от нашего округа. Он рассказывал, как всем этим неофициальным делегатам раз-

дали списки лиц, подлежащих помилованию, с указанием фамилии, за что осужден, срок наказания, время отбывания, характеристики, и т. д. и т. п. Заседание Совета происходило в тюремной столовой. Дядю Гевина и остальных делегатов усадили на жесткие без спинков деревянные скамейки на одном конце зала, тогда как губернатор и члены Совета разместились за столом на возвышении, где обычно стояла стража, когда заключенные обедали. Когда все расселись по местам, в зал ввели первую партию заключенных и выстроили в ряд. Губернатор зачитал первую фамилию и приказал ему выйти из строя. Никто не вышел. Нестройный гул прошелся по рядам одетых в полосатые куртки людей. Они о чем-то начали переговариваться друг с другом, пока стража не принялась кричать, а губернатор, оторвавшись от бумаг, не взглянул на них, приподняв удивленно брови. Затем из задних рядов кто-то крикнул:

— Господин губернатор, пусть Террел скажет за всех нас. Мы его выбрали...

Дядя Гевин не сразу посмотрел на этого человека. Вначале он взглянул в список:

«Билл Террел, неумышленное убийство, осужден на двадцать лет. Наказание отбывает с 19.. года. Обращался с просьбой о помиловании 15 января 19.. года. Отказано начальником тюрьмы С. А. Гамбреллом. Повторно подал просьбу о помиловании в 19.. году. Отказано начальником тюрьмы С. А. Гамбреллом. Характеристика — смутьян, нарушает постоянно тюремный режим».

Потом дядя взглянул в зал и увидел, как Террел вышел из строя и направился к столу: огромного роста детина, косая сажень в плечах, с лицом хищным и угрюмым, смахивающий на индейца — если бы не желтовато-серые глаза и копна кудрявых черных волос — крупными шагами подошел к столу с какой-то смесью наглости и угодливости на лице, встал и, не дожидаясь разрешения, заговорил каким-то тонким, фальшивым, чрезвычайно монотонным голосом, исполненным все той же трусоватой наглости:

— Ваша честь! Уважаемые господа!

Мы согрешили перед Богом и людьми, но теперь страданиями искупили свою вину. Сейчас мы хотим выйти на волю, чтобы стать фермерами и в поте лица своего добывать себе хлеб наш насущный...

Дядя Гевин очутился на возвышении прежде, чем Террел закончил свою речь. Он наклонился над губернаторским креслом, тот обернул к нему свое маленькое пухлое хитрое лицо, и его непроницаемый взгляд выражал удивление нетерпению делегата.

— Отошлите этого человека назад,— сказал дядя Гевин,— мне нужно поговорить с вами по секрету.

Некоторое время губернатор пристально смотрел на дядю Гевина, члены марионеточного совета также обратили на него свои тупые, без единой, как сказал дядя Гевин, мысли лица.

— О, пожалуйста, мистер Стивенс,— молвил губернатор. Он встал с кресла и последовал за дядей Гевиним в дальний угол зала к пустому окну, тогда как Террел, все еще стоявший у стола, резко дернул головой и замер, весь напряженный: а свет из окон полыхнул в его желтых глазах пламенем, словно две зажженные спички.

— Господин губернатор, этот человек — убийца,— сказал дядя Гевин.

На лице губернатора не дрогнул ни один мускул.

— Неумышленное убийство, мистер Стивенс,— мягко возразил он.— Неумышленное. Как почтенные граждане этого штата, так и мы, его скромные служители, должны верить решению суда присяжных штата Миссисипи.

— Я не о том говорю сейчас,— заявил дядя Гевин.

По его словам, он сказал так или что-то в этом роде из-за спешки и волнения, словно он боялся, что Террел вот-вот исчезнет, если он не поторопится; он говорил мне, что испытывал ужасное чувство, что через секунду этот стоящий перед ним маленький, хитрый и учтивый господин только одной холодной волей своей, диким честолюбием и не знающей нравственных границ жестокостью заколдует и перенесет Террела за пределы возмездия Закона.

— Я говорю о Гамбрелле и том бедняге-полоумном, которого повесили три года назад. Вот тот человек, который их обоих убил с такой же точностью, как если бы сам спустил курок пистолета и набросил петлю на шею.

Лицо губернатора по-прежнему оставалось спокойным.

— Это интересное, если не сказать серьезное, обвинение,— заметил он.— У вас, конечно, есть доказательства?

— Нет, но сейчас будут. Дайте мне десять минут, чтобы поговорить с ним наедине. Я получу доказательства. Я заставлю его признаться.

— А-а-а...— протянул разочарованно губернатор.

Он опустил голову и на минуту призадумался. Когда же поднял взор, спокойное выражение на его лице все еще не изменилось, однако он словно рукой что-то стер с него.

«Понимаешь, он тогда сделал мне комплимент,— рассказывал потом дядя Гевин,— комплимент моему уму и проницательности. Он говорил со мной вполне откровенно и этим сделал мне самый большой комплимент, на какой был способен».

— А что это мне даст? — спросил губернатор.

— Вы хотите сказать, — начал дядя Гевин, и их взгляды на минуту скрестились, — что вы все равно намерены выпустить его на свободу на горе гражданам нашего штата ради каких-то нескольких лишних голосов?

— А почему бы и нет? Если он вновь совершит преступление, то ворота тюрьмы всегда для него открыты.

Теперь уже дядя Гевин на минутку задумался, хотя и продолжал смотреть прямо.

— Предположим, что я расскажу о нашем с вами разговоре другим. Я, конечно, не представлю доказательств, но мне поверят. А это вызовет...

— Потерю голосов?.. Что же, это верно. Но, понимаете ли, я уже потерял эти голоса, так как никогда их не имел. Согласны? И вы хотите заставить меня сделать то, что, как сами понимаете, идет вразрез с моими принципами. Уж не думаете ли вы навязать мне свои принципы?

Теперь, как рассказывал дядя Гевин, губернатор взглянул на него почти сердечно, доброжелательно и чуть ли не с сожалением — донельзя пытливо.

— Мистер Стивенс, вы один из тех, кого мой дед называл джентльменами. Он был зол на вас и всю вашу породу. Он мог бы вполне вероятно при случае пристрелить под вами лошадь из-за забора — ради принципа. Вы хотите понятия 60-х годов прошлого века внести в политику двадцатого столетия. А политика в двадцатом веке — вещь довольно грязная. Мне так, например, все время кажется, что и все двадцатое столетие — штука грязная и препротивная, далеко не райская. Однако ближе к делу.

Губернатор повернул назад к столу и стоящим в ожидании людям:

— Примите совет доброжелателя, даже если он не может назвать себя вашим другом, — бросьте эту затею. Как я уже сказал, если на свободе он снова совершит преступление, что вполне вероятно, то мы его всегда можем вернуть сюда.

— И снова помиловать?..

— Может, и так. Обычаи не меняются так быстро, запомните.

— Но вы все-таки позвольте мне поговорить с ним наедине, хорошо?

Губернатор помедлил минуту, оглянулся назад, снова обходительный и веселый.

— Ну, конечно, о чем разговор, мистер Стивенс. Сделайте одолжение.

Их отвели в камеру. Часовой с ружьем встал у дверей.

— Будьте осторожны,— предупредил он дядю Гевина.— Это опасный человек, не шутите с ним.

— Я не боюсь его,— сказал дядя Гевин, добавив, что теперь бояться нечего, однако часовой не понял, на что он намекает.— У меня еще меньше оснований бояться его, чем было у мистера Гамбрелла, ведь Монка теперь нет, он мертв.

Итак, они остались одни в голой камере — дядя Гевин и этот смахивающий на индейца гигант со свирепым взглядом желтоватых глаз.

— Значит, теперь вы встали мне поперек дороги,— сказал Террел каким-то неестественно гнусавым, монотонным голосом.

Дело Террела — памятное всем, освещалось в свое время в мемфисских газетах, к тому же произошло вблизи Джефферсона. Террел никогда не был фермером. Дядя Гевин сказал, что именно это обстоятельство, даже до того, как он уразумел, что Террел слово в слово повторил те самые слова, которые Монк сказал на эшафоте и которые Террел ни слышать, ни знать не мог, не тождество слов, а именно сам факт, что ни Террел, ни Монк никогда в своей жизни не занимались сельским хозяйством, вот что натолкнуло его на догадку.

Убийство, за которое Террел попал в тюрьму, произошло на другой бензозаправочной станции неподалеку от железной дороги. Тормозной кондуктор с ночного товарняка показал, что видел, как два человека выскочили из-за кустов, таща на себе какой-то груз, который впоследствии оказался человеком, живым или мертвым, он не знает, и бросили его под проходящий состав.

Бензозаправочная станция принадлежала Террелу, и, когда выяснилось, что там произошла драка, Террела арестовали. На следствии он вначале отрицал сам факт драки, потом отрицал, что потерпевший участвовал в ней, затем заявил, что тот совратил его (Террела) дочь и его (Террела) сын убил обидчика, а он просто из жалости пытался отвести подозрение от сына. Но дочь и сын своими показаниями утопили Террела, который тут же на суде проклял их обоих.

— Постойте,— сказал стоящему перед ним Террелу дядя Гевин,— здесь я буду задавать вопросы.— Что вы сказали Монку Олдетропу?

— Ничего! — ответил Террел.— Ничего я ему не говорил!..

— Хорошо,— сказал дядя Гевин.— Это все, что я хотел знать.

Он обернулся к часовому за дверью:

— Мы закончили. Можете увести его,

— Погодите,— сказал Террел.— Погодите. За что, почему вы меня хотите оставить за решеткой?.. Что я вам сделал плохого?.. Вы человек богатый и свободный, вы можете поехать куда вам вздумается, я же должен здесь...

И тут он начал кричать.

Дядя Гевин рассказывал мне, что Террел кричал, не повышая голоса, так, чтобы часовой в коридоре не слышал.

— Ничего! Повторяю — я ничего ему не говорил!

На сей раз дядя Гевин даже не успел повернуться, чтобы уйти. Он сказал, что Террел прошел в двух шагах от него, бесшумно, как кошка, и выглянул в коридор. Затем повернулся и взглянул прямо в глаза дяде Гевину.

— Послушайте, вы! — сказал он.— Если я расскажу вам, даете слово не голосовать супротив меня?

— Да, даю,— ответил дядя Гевин.— Я не стану голосовать, как вы сказали, супротив вас.

— А как узнать, что вы не лжете?

— Э-э...— возразил дядя Гевин,— как же узнать иначе, как не проверив на деле?

Их взоры встретились. Террел первый опустил глаза. Дядя Гевин рассказывал, что Террел поднял руку к груди своей и он (дядя) видел, как суставы медленно побелели, когда Террел сжал руку в кулак.

— Похоже, что только так можно узнать,— проговорил заключенный.— Похоже, что так...— Он поднял голову, теперь он кричал, но так же беззвучно, как и раньше.— Но если вы меня обманете, а я потом отсюда выйду, то берегитесь! Поняли? Берегитесь!..

— Вы мне угрожаете? — спросил дядя Гевин.— Вы, который находится здесь в этой полосатой тюремной куртке за этими толстыми каменными стенами и стальными решетками, охраняемыми часовыми с ружьями? Вы что, насмешить меня хотите?..

— Ничего я не хочу,— ответил Террел. В его голосе теперь опять слышалось хныканье.— Я только хочу справедливости на свете. Вот и все.

Тут он снова принялся кричать все тем же приглушенным голосом, глядя на свои побелевшие от напряжения кулаки.

— Я дважды пытался этого добиться. Я старался добиться справедливости и выйти на волю. И каждый раз он мне мешал. Я знал об этом. «Ну, погоди»,— сказал я ему тогда...

Он замолчал так же неожиданно, как и начал. Дядя Гевин рассказывал, что ему даже было слышно учащенное дыхание убийцы.

— Вы сказали Гамбреллу?..— вопросительно начал дядя Гевин.— Продолжайте...

— Да, я сказал ему. Я сказал: «Ну, погоди...» Он вздумал смеяться надо мной. Он не имел права так делать. Он мог отказать в просьбе, но не смеяться... Он сказал мне, что я останусь в тюрьме до тех пор, пока он жив и здесь начальник, а он останется начальником на всю жизнь. Вот он и остался, на полный срок...

«Нет, Террел не рассмеялся при этом,— сказал дядя Гевин.— Тут ему было не до смеха».

— Так, понятно. И тогда вы сказали Монку...

— Да, я сказал ему. Я сказал, что «мы, темные и обездоленные простые люди, сидим здесь в тюрьме и не было у нас никакой жизни. Что бог предназначил людям жить на воле, велел всем обрабатывать его землю во имя божье... Но мы, темные и обездоленные, не знали этого, а богатые все молчат, а потом говорить будет поздно. Мы, темные и обездоленные, никогда не видели поезда, а потом нас посадили на поезд и не сказали, куда ехать, где сойти, чтобы жить на воле и растить хлеб на полях, как бог велел, и вот он и есть тот человек, который тащит нас назад, держит взаперти, мешая выйти на волю, надсмехается над нами супротив господней воле...». Но я никогда не говорил ему, чтобы он кого-то убил. Я просто сказал: «И как нам выйти на волю, раз у нас нет пистолета? Если бы у кого-нибудь из нас был пистолет, тогда бы мы вышли на волю и начали трудиться в поле, потому что для этого нас создал Господь, и именно это мы должны делать, остальное грех. Разве не так?» На что Монк ответил: «Да, так!» Я сказал: «Но у нас нет пистолета». А он говорит: «Я могу достать пистолет». «Тогда,— сказал я,— мы выйдем на волю, и хотя мы согрешили против господа, это не наша вина, ибо никто не объяснил нам, какова его воля, для чего он нас сотворил. Но теперь мы знаем это, поэтому хотим выйти на волю, хотим быть свободными людьми и пахать землю во имя бога». Вот и все, что я тогда ему сказал. Я ему ничего не приказывал. А теперь идите и донесите на меня. Пусть меня повесят также. Гамбрелл и тот кретин давно сгнили в могиле, что же, пусть и я лучше сгнию в сырой земле, чем заживо гнить здесь. Так и скажите им...

— Хорошо,— сказал дядя Гевин.— Вы выйдете на свободу...

Целую минуту, как рассказывал дядя Гевин, Террел стоял неподвижно, ошеломленный. Потом произнес два только слова:

--- На свободу!

— Да, на свободу, — повторил дядя Гевин. — Но запомните следующее. Минуту назад вы угрожали мне. Теперь послушайте меня. Я, как ни странно, имею возможность исполнить свою угрозу. Предупреждаю... Отныне я буду следить за каждым вашим шагом и если еще раз что-нибудь подобное повторится, если кто-нибудь опять вас подрядит в убийцы, а потом вам удастся доказать, что вы в тот момент были совсем в другом месте или сможете найти подставного себе, то вам несдобровать... Понятно?

Когда дядя Гевин сказал о свободе, Террел глядел прямо. Теперь же он опустил голову.

— Так понятно?.. — повторил дядя Гевин свой вопрос.

— Да, — сказал Террел. — Я понял.

— Очень хорошо, — молвил дядя Гевин и, повернувшись, кликнул часового. — Уведите его!

Они вернулись в тюремную столовую, где губернатор выкликал по одному заключенных и вручал им документы.

При виде вернувшегося дяди Гевина он прервал свое занятие и, не дожидаясь, когда тот заговорит, сказал:

— Вы, я вижу, преуспели...

— Да! Вы хотите знать...

— Нет, нет, мой дорогой, ни в коем случае. Я вынужден отклонить вашу просьбу, больше того, я категорически против...

И губернатор вновь, как рассказывал дядя Гевин, взглянул на него с сердечностью и лукавством и даже чуть ли не с сожалением, хотя, как и раньше, во взгляде его виднелась пытливая настороженность.

— Я знал, что вы не откажетесь от надежды изменить что-либо в этом деле. Не так ли?

Теперь дядя Гевин призадумался, а затем сказал:

— Да, конечно. Но вы все так же намерены вернуть ему свободу? Это в самом деле так?

На сей раз сожаление и сердечность сползли с лица губернатора, и оно вновь стало таким, каким было с самого начала — гладким, лицемерным, непроницаемым.

— Мой дорогой мистер Стивенс, — сказал губернатор фальшивым голосом. — Вы убедили меня. Но я всего лишь председательствующий на этом высокочтимом собрании, здесь все решает голосование. Уж не думаете ли вы, что сумеете переубедить вон тех джентльменов?

И он показал взглядом на сидевших за столом господ офицеров, всех этих похожих один на другого марионеток — штампованных полковников и командиров семи или восьми подчиненных ему воинских частей.

— Вряд ли, — ответил дядя Гевин, — на это я не надеюсь, — и покинул собрание.

И хотя день был в самом разгаре, и на улице стояла страшная жара, он тотчас же отправился назад, в Джефферсон.

Он ехал среди просторных, затянутых маревом плодородных хлопковых и рисовых полей, по благословенной и проклятой богом земле, которая переживет любую коррупцию и несправедливость.

Он рад был жаре, рассказывал он, рад поту, который смыл с него грязь и запах того места, откуда он только что выбрался.

РУКИ НАД ВОДАМИ

По тропинке, там, где она вьется между рекой и плотной стеной китарисов, тростника, камедных деревьев и шиповника, шли двое. Первый — пожилой, нес в руках рюкзак из грубой мешковины, выстиранный и выглядевший так, словно его заодно и выгладили. Вторым был молодой парень, лет двадцати — не более, судя по лицу. Река обмелела, и вода держалась на уровне середины лета.

— Он, должно быть, рыбачит. В мелководье самый клев, — сказал молодой.

— Если ему вздумалось рыбачить, — отозвался второй с рюкзаком. — Только они с Джо проверяют перемет, когда им вздумается, а не когда рыба клюет.

— Так или иначе, но на крючке она будет, — заметил молодой. — Не думаю, чтобы Лонни очень беспокоился, как она попадет к нему на обед.

Вскоре тропинка вышла на маленький расчищенный участок, выдающийся в реку, словно мыс, посреди которого стояла коническая с заостренной сверху крышей хибарка, построенная частью из прогнившего брезента и разнокалиберных досок, частью из выпрямленных кусков жести из-под бидонов для масла. Над хибаркой торчала, держась чудом, заржавелая труба; рядом на земле валялись тощая охапка дров и топор, а у стены стояла прислоненной ивовая верша. Перед раскрытой дверью они увидели с дюжину поводков из корда, нарезанных прямо из мотка, валявшегося тут же, и порыжевшую от ржавчины консервную банку, наполовину полную рыболовецких крючков, часть которых была уже привязана к кордовым поводкам. Но вокруг не было ни души.

— А лодки-то нет на месте, — сказал постарше с рюкзаком, — так что он не ушел в магазин.

Увидав, что молодой продолжает шагать дальше, он затаил дыхание, приготовившись окликнуть его, как вдруг перед ним, прямо как из-под земли, вырос и замер, натолкнувшись на него, какой-то человек небольшого роста, но с могучими плечами и руками. Он что-то громко и жалобно хныкал. Это был уже взрослый парень, но, несмотря на это, в нем оставалось много детского: и в манере, какой он ходил — босой, в поношенном комбинезоне, и в упорном взгляде человека, от рождения глухого и немого.

— Эге, Джо,— сказал пожилой громким голосом, каким обычно говорят с теми, кто, знают, не слышит их.— Где Лонни? — Он показал рукой в сторону реки.— Рыбу ловит?

Но немой только смотрел, уставившись на него, и часто всхлипывал, потом повернулся и бросился бежать по тропинке, туда, где скрылся молодой парень, который в эту минуту закричал:

— Эй, сюда, скорей! Взгляни-ка на перемет!

Пожилой заспешил на зов. Парень стоял, сильно наклонившись вперед над водой, возле дерева, за которое был привязан один конец туго натянувшегося тонкого хлопчатобумажного шнура, косо уходившего в воду. Прямо за спиной парня стоял глухонемой, все еще тихо всхлипывая и быстро перебирая на месте ногами, словно в нетерпении, однако не успев пожилой дойти до него, как он отвернулся и бросился бежать обратно к хижине. Обычно перемет у концов, натянутый между двумя деревьями с одного берега реки на другой, выходил из воды так, что только средняя часть его с крючками на поводках погружалась в воду. На сей раз, однако, он с обеих сторон резко уходил под воду, сильно провиснув посредине, так что даже издали можно было заметить, как шнур дрожит от напряжения.

— Ох, и большая, с человека будет! — кричал молодой.

— А вон и лодка его, — сказал пожилой.

Второй также ее заметил. Она кружилась чуть ниже по реке посреди маленького залива, образованного поросшей тальником косой.

— Ну-ка сплавай и приведи ее сюда. Посмотрим, что тут за рыбина попалась.

Юноша разулся, снял комбинезон и рубашку, зашел в воду по грудь и поплыл, держась так, чтобы течением его вынесло прямо к лодке. Взобравшись в нее, он взял небольшое кормовое весло и начал, стоя, грести назад, нетерпеливо всматриваясь вперед, туда, где перемет сильно провис, в самом центре которого вода время от времени так и вскипала под напором

какого-то подводного течения. Он подвел ялик к берегу, к пожилому, который в эту минуту обнаружил у себя за спиной глухонемого, продолжавшего о чем-то торопливо всхлипывать и старавшегося забраться в лодку.

— Пошел назад! — закричал на него пожилой, подталкивая в спину рукой. — Пошел отсюда, Джо.

— Скорей! — торопил молодой, не спуская глаз с затонувшего перемета, где, как он видел, что-то огромное нехотя выворачивалось на поверхность и снова уходило на дно. — Не я буду, если там не кит! Ух, какой большой, прямо с человека!

Пожилый вступил в лодку. Держась за перемет, он начал перебирать его руками с одного крючка на другой, вытягивая постепенно лодку на середину реки.

Внезапно с оставшегося позади берега реки глухонемой завыл, протяжно и громко.

— Следствие? А по какому делу? — спросил Стивенс.

— По делу Лонни Гриннапа. — Следователем по делам о насильственной смерти являлся старый сельский врач. — Тут два приятеля нашли сегодня его труп в реке. Он висел на собственном перемете.

— Это бедняга слабоумный? Не может быть! Сейчас приеду, — бросил в трубку Стивенс.

Как прокурор округа он мог бы не выезжать на место происшествия, даже если бы дело действительно касалось умышленного убийства. Он это знал. Ему хотелось съездить и взглянуть в лицо покойного по чисто сентиментальным соображениям. Дело в том, что ныне существующий округ Йокнапатофа был основан не одним пионером-переселенцем, а сразу тремя. Они приехали сюда все вместе верхом на лошадях через Кемберлендское ущелье из Каролины в то время, когда нынешний город Джефферсон был всего-навсего простым почтовым пунктом Чикасо, и купили здесь у индейцев землю. Акклиматизировавшиеся семейства разрослись, а потом исчезли так, что в настоящее время, сто лет спустя, в округе, основателями которого они являлись, остался всего лишь один представитель всех трех семейств.

Им был Стивенс, потому что последний из рода Холстонов умер в конце прошлого века, а Луи Гренье, на труп которого Стивенс отправился взглянуть за восемь миль по июльской жаре, был не в счет, ибо он, когда был еще жив, даже не знал того, что он из рода Гренье. Он даже не мог четко по слогам прочесть то имя — Лонни Гриннап, — каким он нарек сам себя.

Хибарка, перемет и верша, по существу, находились почти в центре тех тысячи и более акров земли, которыми некогда владели его предки. Но Лонни Гриннап об этом не знал.

Стоял ясный день. Дали синели от жары. За широкой равниной, там, где шоссе сворачивало и уходило вдоль русла реки, Стивенс увидал магазин. Обычно он пустовал, но сейчас возле него виднелись сбившиеся в кучу легковые автомобили с откинутыми верхами, оседланные лошади и мулы, фургоны, владельцев которых он знал по именам. И больше того, они также знали его, из года в год голосовали за него и называли просто по имени, несмотря на то, что совсем не понимали его, точно так же, как не понимали смысла и значения маленького золотого ключика, висевшего на часовой цепочке с тремя вычеканенными на нем греческими буквами — пси, бета и каппа — символа старейшей студенческой корпорации мира.

Покойник, оказывается, лежал не в магазине, а на расположенной неподалеку мукомольной мельнице, перед распахнутой дверью которой чистые воскресные комбинезоны, белые рубашки, обнаженные головы и обожженные солнцем шеи, окантованные тонкой белой полосой бритых ради субботы затылков, сгрудились молчаливой более плотной массой. Они раздвинулись, чтобы пропустить его. Внутри стоял стол и три стула, занятые двумя свидетелями и следователем.

Стивенс обратил внимание на мужчину лет сорока, державшего в руке чистый рюкзак из грубой мешковины, сложенный так, что походил на книгу, и юношу, на лице которого виднелись следы усталости и какого-то безграничного удивления.

Лонни Гриннап, укрытый старым стеганым одеялом, лежал на низенькой платформе, к которой была повернута болтами небольшая мельничная установка. Стивенс пересек комнату, поднял уголок одеяла и, взглянув в лицо утопленника, опустил одеяло и повернулся, собираясь возвратиться назад в город, и вдруг передумал. Он двинулся сквозь толпу выстроившихся вдоль стены мужчин со шляпами в руках, слушавших внимательно показания двух свидетелей: молодого парня, рассказывающего удивленным, усталым, неуверенным голосом о том, как было дело. Стивенс понаблюдал, как следователь подписал свидетельство о смерти — случайной смерти, — как тот сунул авторучку в карман, и в эту минуту понял, что в город не поедет.

— Кажется, все, — сказал следователь и глянул на распахнутую дверь. — Все в порядке, Айк. Можете его забрать теперь.

Стивенс вместе с другими отодвинулся в сторону и подождал, пока четверо мужчин не подошли к мертвому телу.

— Айк, это вы собрались его похоронить? — спросил он.

Старший из четверых глянул на него вопросительно.

— Да, он держал у Митчела в лавке деньги на свои похороны.

— Значит, ты, Поусе, Метью и Джим Блейк? — спросил Стивенс.

На этот раз еще один из них посмотрел на него с недоумением и некоторым нетерпением и заявил:

— Да, мы добавим, если не хватит.

— Я могу помочь, — сказал Стивенс.

— Спасибо, не надо, хватит своих, — отрезал тот.

Тут подошел следователь и сказал раздраженно:

— Ну все в порядке, мальчики. Двигайте. Пропустите-ка их...

Стивенс вместе с другими снова вышел под палящие лучи солнца. Теперь у дверей мельницы стоял фургон, которого прежде не было. Задний борт был откинут, ложе устлано соломой. Вместе с другими Стивенс стоял без шляпы и смотрел, как четверо мужчин вынесли из-под навеса завернутое в одеяло тело и потащили к фургону. Два-три человека из толпы двинулись им навстречу, чтобы помочь. Стивенс также двинулся вперед и тронул за плечо молодого парня — очевидца, на лице которого все еще сохранялись следы усталости, недоумения и какого-то жуткого удивления.

— Вы вплавь добрались до лодки, еще ничего плохого не подозревая? — спросил его Стивенс.

— Совершенно верно, — ответил тот. Он заговорил вначале вполне спокойно.

— Я переплыл речку, взял лодку и начал грести обратно. Я знал, конечно, что там, на перемете, что-то есть. Я же видел, как рвет шнур...

— Вы хотите сказать, что лодку привели вплавь?

— Нет, сев в... Сэр?..

— Вы вплавь привели лодку назад. Вы подплыли к ней, взяли ее и вернулись назад вместе с ней вплавь? Так?

— Нет, сэр! Я взобрался в нее и начал грести прямо через речку. Я ничего не знал! Я видел, как рыба...

— Чем же вы гребли? — спросил Стивенс.

Юноша вопросительно уставился на него.

— Так чем же вы гребли? Руками?

— Как чем, кормовым веслом! Я взял весло в лодке, и начал им грести обратно, и все время видел, как они шуруют в воде... Они не хотели его отпустить. Они вцепились в него и не отпускали даже, когда мы начали вытаскивать его из воды. Они его ели. Рыбы!.. Я знал, что черви едят трупы людей, но чтобы рыбы... А они ели! Конечно, мы думали вначале, что на

крючке большая рыбина, а это был он! Никогда в рот больше не возьму ни одну рыбу. Никогда!

Казалось, прошло не так много времени, однако полдень куда-то исчез, испарился, прихватив с собой часть июльской жары. Снова, уже сидя в автомашине, рука на ключе зажигания, Стивенс смотрел на готовый тронуться фургон. «Тут что-то не так, — подумал он, — что-то не чисто. Тут что-то есть еще, чего я не заметил, пропустил, да и другие тоже. Или же еще не все кончилось и следует ждать продолжения».

Фургон сдвинулся с места и поехал через пыльную насыпь на шоссе: два человека сидели на козлах, а еще двое сопровождали верхом на мулах. Рука Стивенса повернула ключ зажигания, и автомобиль рванулся с места. Набирая скорость, машина обогнала фургон.

Проехав с милю по шоссе, он свернул на грунтовый проселок в сторону возвышавшихся вдали холмов. Дорога начала подниматься вверх, солнце то появлялось, то вновь скрывалось за гребнями холмов. Солнце медленно садилось. Вскоре дорога разветвилась. У развилки стояла небольшая церквушка, только что выбеленная, без колокольни, рядом с ней виднелась без всякой ограды группа разбросанных там и сям дешевеньких мраморных надгробий и несколько холмиков земли, обведенных по краям выстроенными в ряд перевернутыми стеклянными банками, глиняными горшками или половинками кирпича.

Он не стал раздумывать. Подкатив к церквушке, он развернул машину в сторону развилки, образованной шоссе и дорогой, по которой он только что проехал, где она сворачивала в сторону и исчезала за поворотом. Из-за этого поворота он слышал, как раздается громыхание фургона, еще до того, как он показался, но тут его заглушил грузовик. Затянутый сверху брезентом, он спустился на большой скорости с холма позади церквушки и пронесся мимо, притормаживая.

Грузовик выскочил у развилки на шоссе и встал, и Стивенс снова услышал громыхание фургона, а потом увидел и сам фургон и четырех сопровождающих его лиц, в сумерках огибающий поворот. Какой-то человек выпрыгнул из грузовика и встал у дороги. Стивенс опознал его. Тейлор Белленбах — фермер, имеющий репутацию человека, решительного и опасного. Местный уроженец, он провел несколько лет на Западе и вернулся назад, волоча за собой, словно зловонный шлейф, слухи о деньгах, которые якобы он выиграл в карты; он женился, купил землю и больше в карты не играл, а в течение ряда лет закладывал свой урожай на корню, а на вырученные деньги покупал и продавал у других еще не убранный с полей хлопок — это он как раз стоял сейчас около фургона: высокий,

запыленный и что-то говорил без жестикуляции, не повышая тона, людям в фургоне. Потом рядом с ним появилась еще одна фигура в белой рубашке, которого Стивенс не успел как следует разглядеть и опознать.

Его рука опять легла на ключ зажигания; машина, рыча, рванулась с места. Он включил фары и на полном ходу выскочил с церковного двора на шоссе и подъехал сзади к фургону, как раз в тот момент, когда человек в белой рубашке вскочил к нему на подножку автомобиля, что-то крича, и тут Стивенс узнал его также: младший брат Белленбаха, пять лет назад уехавший в Мемфис, где, по слухам, служил в наемных войсках, охраняя текстильную фабрику, когда на ней происходила забастовка текстильщиков. Он последние два-три года жил у своего брата, скрываясь, как говорили, не от полиции, а от своих же мемфисских дружков и приятелей. Здесь его имя часто фигурировало в полицейских протоколах, составленных во время драк и скандалов на танцах и вечеринках. Как-то два представителя власти его усмирили и бросили в тюрьму, где по субботам он, напившись пьяным, хвастался своими прошлыми похождениями или проклинал свою судьбу и своего старшего брата, заставившего его работать на ферме простым батраком.

— Какого черта ты тут высматриваешь?! — кричал он на Стивенса.

— Бойд, — сказал старший Белленбах. Он даже не возвысил голос. — Иди назад на грузовик.

Сам остался стоять спокойно — высокий, с мрачным лицом человек, смотревший на Стивенса бесцветными, холодными, как сталь, абсолютно ничего не выражающими глазами.

— Привет, Гевин, — бросил он Стивенсу.

— Привет, Тейлор, — ответил Стивенс. — Хотите взять его к себе?

И он кивнул головой на мертвое тело.

— А что, кто-нибудь против?

— Да нет, никто, — ответил Стивенс, выходя из машины. — Я помогу вам перенести его на грузовик.

Потом он снова сел в свой автомобиль. Фургон двинулся дальше. Грузовик попятился назад, развернулся и проехал мимо, набирая скорость, мелькнули два лица; одно — Стивенс успел разглядеть его теперь — уже не было столь свирепым, как прежде, а скорее напуганным несколько; второе, на нем вообще ничего нельзя было заметить, кроме спокойных, холодных бесцветных глаз. Треснувший задний фонарь мигнул последний раз и скрылся за холмом. «Так у него номер на машине окатомбского округа», — подумал Стивенс.

Лонни Гриннапа похоронили на следующий день. Тело покойного выносили из дома Тейлора Белленбаха.

Стивенс не поехал на похороны.

— Джо, я думаю, также там не было, — заметил он. — Глухонемой друг Лонни.

Его действительно там не было. Те, кто тем воскресным утром ходил к лачуге Лонни, чтобы взглянуть на перемет, рассказывали, что он все еще находится там в поисках Лонни. Нет, он не был на похоронах. И когда, наконец, он найдет Лонни, он, даже положив голову на грудь, не услышит дыхания человека, который заменил ему отца и брата.

— Не правда, найдем, — говорил себе Стивенс.

В этот день он находился в Мотстауне, административном центре окатоубского округа. И хотя день был воскресный, а он даже не знал, пока не нашел, что же он ищет, он все-таки к вечеру нашел то, что искал — агента страховой компании, который одиннадцать лет назад застраховал Лонни Гриннапа на случай смерти от несчастного случая. Выгодоприобретателем по страховому полису являлся Тейлор Белленбах.

Догадка оказалась правильной. Медицинский эксперт никогда до этого не видел Лонни, но был много лет знаком с Тейлором Белленбахом. Лонни поставил свою закорючку вместо подписи, и Белленбах уплатил первый взнос и продолжал платить страховые взносы все остальное время.

— Так пока компанию не извещать? — спросил агент.

— Нет, почему же, я хочу, чтобы вы признали иск правильным, когда он придет и принесет заявление, и объяснили ему, что для того, чтобы уладить все дело, потребуется минимум неделя; затем выждите три дня и пошлите ему извещение с просьбой прийти в контору на следующий день в девять или десять утра, не говоря зачем и для чего. Как только узнаете, что он получил извещение, сразу же дайте мне знать.

На следующий день ночью перед самым рассветом, когда знойная волна воздуха столкнулась с холодной, разразилась гроза. Стивенс, лежа в постели, видел вспышки молний и слышал раскаты грома и яростный шум низвергающейся с небес воды и думал о том, как дождь стучит, а мутная вода свирепо размывает холодную сиротскую могилу Лонни Гриннапа на голом склоне холма позади маленькой церквушки без колокольни, думал о том, как, перекрывая рев вздувшейся реки, дождь барабанит по жестяно-брезентовой лачуге, где глухонемой паренек все еще, вероятно, сидит и ждет, когда Лонни вернется домой, ждет понапрасну, чутьем понимая, что случилось какое-то несчастье, но не зная, какое именно и как.

«Нет, зная как?! — подумал Стивенс. — Да они каким-то образом обманули беднягу. Они даже не стали утруждать себя, чтобы связать его. Они просто обманули его, только и всего».

В среду вечером ему позвонил мотстаунский страховой агент и сообщил, что Тейлор Белленбах пришел и предъявил страховой полис к оплате.

— Очень хорошо, — сказал Стивенс. — Пошлите ему в понедельник повестку с просьбой явиться в четверг. И, как только он ее получит, позвоните мне.

Он повесил трубку. «Я, кажется, решил сыграть партию в студ-покер¹ с человеком, который зарекомендовал себя как один из самых азартных карточных игроков, не мне чета, — подумал Стивенс. — Ну хоть по крайней мере я заставил его взять карты в руки. И он знает, кто против него сел играть».

Таким образом, когда на следующий день пришла вторая телефонограмма, он уже обдумал, что ему делать и как быть. Он поначалу решил было захватить с собой шерифа или кого-нибудь из друзей, но потом передумал. «Даже друг и тот вряд ли поверит, что я уже взял «темную» карту, хотя так оно и есть», — подумал он. Один человек-убийца, пусть новичок в этом деле, мог бы еще удовлетвориться тем, что чисто замел следы после «мокрого дела». Но когда их двое, ни один не успокоится до тех пор, пока сам не убедится, что другой не оставил никакой ниточки, за которую можно было бы все дело распутать.

Вот почему Стивенс поехал один. У него был пистолет. Он взглянул на него и бросил обратно в стол.

«По крайней мере меня из него не ухлопают», — сказал он себе.

Как только стемнело, он выехал из города.

На сей раз он проехал магазин, когда уже не было видно ни зги. Добравшись до грунтовой дороги, по которой он девять дней назад проезжал, он не стал на нее сворачивать, а, проехав дальше еще с четверть мили, завернул на какой-то захламленный двор — свет фар упал на потемневшую негритянскую хижину. Оставив фары включенными, он вступил в желтый круг света и направился прямо к хижине, крича: «Найт!.. Эй, Найт!..»

Вскоре послышался мужской голос, но огонь в хижине не вздули.

¹ Самый азартный вариант игры в покер, когда ставки удваиваются непрерывно. (Прим. переводчика.)

— Я иду в лагерь мистера Лонни Гриннапа. Если к утру не вернусь, пройди до магазина и дай им знать об этом.

Никакого ответа. Потом донесся женский голос, который кому-то сердито выговаривал: «Отойди от двери! Кому говорить!» Мужской голос что-то возразил в ответ.

— Не лезь, тебе говорят, не лезь! — кричала женщина. — Отойди от двери, слышишь! Пусть белые сами между собой разбиаются, не твое это дело, не суйся!

«Значит, не я один, есть и другие», — сказал Стивенс самому себе, подумав о том, как часто, если не сказать всегда, негры чувствуют если не самого дьявола, то дела рук его.

Он вернулся обратно к автомашине, выключил горящие фары и взял с сиденья карманный фонарик. Он отыскал грузовик. Поднеся фонарь, он снова рассмотрел номер автомашины, который промелькнул и скрылся за холмиком девять дней назад. Затем выключил фонарь и положил его в карман.

Двадцать минут спустя Стивенс понял, что ему незачем было беспокоиться об освещении. Спускаясь по тропинке между стеной зарослей и рекой, он увидел, как изнутри по брезентовой стене хижины скачут отблески огня, и до него донеслись два мужских голоса: один — ровный, холодный и спокойный, второй — высокий, неприятный. Он споткнулся об охапку дров, потом еще обо что-то, наконец отыскал дверь и, рывком открыв ее, очутился среди разорения осиротевшего дома — рванье матрацы сброшены с деревянных настилов, плита опрокинута, кухонная утварь валяется под ногами... ногами Тейлора Белленбаха, который стоял, повернувшись лицом к двери с пистолетом в руках, в то время как его младший брат копошился у перевернутого сундука.

— Назад, Гевин! — сказал Белленбах.

— Сам назад, Тейлор! — сказал спокойно Стивенс. — Ты немного опоздал...

Младший выпрямился. По выражению его лица Гевин видел, что тот узнал его.

— Вот тебе раз! — сказал он только.

— Все кончено, Гевин? — спросил старший Белленбах. — Только не ври.

— Полагааю, что так, — ответил Стивенс. — Брось-ка свой пистолет.

— Много с тобой народу?

— На вас хватит, — сказал Стивенс. — Клади, клади свой пистолет, Тейлор.

— К черту! — сказал младший Белленбах и сделал шаг по направлению к Стивенсу. Гевин видел, как глаза его настороженно перебегали от него к двери и обратно.

— Он врет. Там никого нет. Он просто шнырит тут, как в тот раз, сует свой нос, куда его не просят.

Он, слегка наклонившись вперед и растопырив руки, двинулся на Стивенса.

— Бойд! — сказал Тейлор. Тот без тени улыбки на лице, с пронзительным блеском в глазах продолжал надвигаться на Стивенса.

— Бойд! — еще раз сказал Тейлор и быстро, с ужасающей скоростью рванулся за ним, догнал и резким взмахом руки швырнул его на развороченные нары. Они в упор смотрели друг на друга: один спокойно и холодно, с пистолетом, выставленным вперед, но никуда не нацеленным, другой — пригнувшись, с оскаленными, как у крысы, зубами. рычал:

— Какого черта ты мешаешь? Хочешь, чтобы он нас сцапал и увез, словно ягнят, в город?

— Это мое дело — рещать, — сказал Тейлор. Он взглянул на Стивенса. — Я никогда на это не рассчитывал, Гевин, — сказал он. — Я застраховал его жизнь и платил страховые, это так. Но все было сделано с честными намерениями: если бы он пережил меня, то никакой пользы от этих денег я бы не получил, а если бы я его пережил, то я получил бы и использовал эти деньги куда надо. Тут никакого секрета не было. Никто ничего не скрывал, все делалось средь бела дня. Каждый мог знать об этом. Возможно, он даже сам рассказал об этом. Во всяком случае, я не просил его молчать. Да и кто может сказать что-либо против? Но я никогда не рассчитывал на эти деньги.

Вдруг младший Белленбах, который стоял, слегка согнувшись и опираясь на нары, разразился смехом:

— Ха-ха-ха, вот это сказанул, — бросил он.

Потом смех оборвался, будто его отрезали: переход был слишком скор, чтобы остаться незамеченным. Теперь он стоял в полный рост, наклонившись слегка вперед, глядя прямо брату в лицо, и передразнивал:

— Я никогда не страховал его на пять тысяч долларов. Я не собирался получать эти деньги...

— Молчать! — прервал его Тейлор.

— ...Эти пять тысяч долларов, когда найдут его мертвым на...

Тейлор не спеша подошел к нему и ударил по щекам рукой — сначала ладонью, по одной щеке, потом тыльной стороной кисти — по другой, а в другой руке держал пистолет прямо перед Бойдом.

— Я сказал, Бойд, молчать! — Он взглянул снова на Стивенса. — Я никогда не рассчитывал на это. Я не хочу этих денег и сейчас, даже если им вздумается уплатить мне их, пото-

му что не к этому я стремился и не об этом мечтал. Не на это я ставил. Что вы собираетесь делать, Стивенс?

— Он еще спрашивает! Собираюсь предъявить вам обвинение в умышленном убийстве...

— Это еще надо доказать,— прорычал младший Белленбах.— Попробуйте докажите!.. Я никогда не страховал его на пять тысяч...

— Молчать! — сказал Тейлор. Он проговорил это мягко, глядя на Стивенса своими бесцветными, абсолютно ничего не выражающими глазами.— Вы не станете этого делать, Гевин. Это опорочит мою репутацию честного человека. Возможно, хорошая репутация никому особого добра не принесла, но никому и не повредила. Я никому ничего не должен и никогда ничего чужого не брал. Так что не делайте этого, Гевин.

— А что же мне тогда делать, Тейлор?

Тот взглянул на него. Стивенс слышал его тяжелое дыхание, хотя лицо Белленбаха оставалось по-прежнему бесстрастным.

— Значит, вы хотите око за око, зуб за зуб?

— Правосудие этого хочет. Может, Лонни Гриннап хочет. Как ты думаешь?

Тот посмотрел на него долгим взглядом, а затем повернулся и спокойно показал одной рукой на брата, другой на Стивенса, приглашая выйти, спокойно и властно.

Они вышли на улицу и встали на свету, падающем из двери хижины. Где-то над головой средь листвы прошумел и замер ветерок.

Вначале Стивенс не понял, что задумал старший Белленбах. Он смотрел со всевозрастающим удивлением, как тот, повернувшись лицом к брату, протянул тому руку с пистолетами и сказал голосом, в котором теперь слышались неприятные нотки:

— Спор окончен. Я боялся этого с той самой ночи, когда ты пришел и все рассказал мне о содеянном. Мне следовало воспитать тебя получше, но я этого не сумел. Поди сюда. Встань вот здесь и покончим с этим раз и навсегда.

— Остановись, Тейлор! — вскричал Стивенс.— Брось это.

— Прочь, Гевин! Ты хотел кровь за кровь, так ты это получишь.

Он все еще продолжал смотреть в лицо своему брату и даже не взглянул на Гевина.

— Вот сюда,— приказал он.— Встань вот здесь... На, держи...

Но было уже поздно. Стивенс увидел, как младший брат Тейлора отскочил назад с пистолетом в руке. Он заметил, как

Тейлор сделал шаг вперед, и он услышал в его голосе недоверие, удивление, когда понял свою ошибку.

— Брось пистолет, Бойд! — сказал Тейлор. — Брось сейчас же!

— Ты хочешь получить его обратно, так, что ли? — говорил младший Белленбах. — Я пришел к тебе той ночью и сказал, что получишь свои пять тысяч долларов, как только кто-нибудь догадается взглянуть на перемет, и просил тебя дать мне всего сто долларов, сто долларов. и ты пожалел. Так на теперь, получай!

Сверкнул огонь, не очень яркий, затем оранжевый свет снова пронизал полумрак, и Тейлор упал.

«Теперь очередь за мной», — подумал Стивенс. Они стояли друг против друга. Стивенс снова услышал, как где-то над головой в ветвях ветер опять прошелестел листвою и стих.

— Бегите пока не поздно, Бойд! — сказал Стивенс. — Вы уже достаточно дел натворили. Бегите!

— Успею. За меня не беспокойтесь. Впрочем, через минуту вам вообще не о чем будет беспокоиться. Я убегу, будьте спокойны, но только не раньше, чем скажу пару слов всяким воюнкам, которые шныряют везде и суют свой нос, куда их не просят.

«Сейчас он выстрелит», — подумал Стивенс, и резко отпрыгнул в сторону. На мгновение ему показалось, что он увидел в воздухе над головой Бойда собственное перевернутое тело в прыжке, отраженное каким-то непонятным образом тем слабым отблеском света, исходящим от реки, тем свечением, которое вода отдает обратно в темноту. Потом, когда какое-то создание, очертания которого не имели языка, да и не нуждались в нем, создание, которое вот уже девять дней ждало возвращения домой Лонни Гриннапа, упало на спину убийцы, вытянув заранее руки и прогнув в прыжке тело, собранное в комок, в едином безмолвном и неумолимом стремлении задушить, Стивенс понял, что это вовсе не себя он увидел и что не ветер это шелестел листвою.

Он сидел все это время на дереве, подумал Стивенс. Сверкнул пистолет в руке Бойда, Стивенс успел заметить всплеск огня, но выстрела уже не слышал.

Он сидел на веранде с чистой повязкой на голове после ужина, когда к нему поднялся шериф округа — грузный, огромного роста мужчина, веселый и общительный, с глазами даже более бесцветными и холодными, чем у Тейлора Белленбаха.

— Я только на минутку и больше вас тревожить не буду,— сказал он.

— Тревожить меня, это еще зачем? — спросил Стивенс.

Шериф боком примостился на перилах веранды.

— Ну как голова, в порядке?

— Нормально,— ответил Стивенс.

— Прекрасно... Я думаю, что вы уже слышали, где мы нашли Бойда Белленбаха...

Стивенс посмотрел на него с деланным безразличием.

— Может быть, и слышал,— сказал он вежливо.— Да только разве упомнишь с такой головой, все, что говорилось сегодня?

— Так это вы ведь сказали нам, где его искать. Вы были в сознании, когда я подоспел туда. Вы старались дать воды Тейлору и просили обратить внимание на перемет.

— Я просил?! Вот так да, чего только не скажет человек, когда он пьян или в бреду! Иногда он бывает и прав, конечно.

— Так оно и оказалось. Мы осмотрели перемет, и на одном из крючков висел мертвый Бойд точно так же, как висел Лонни Гриннап. Тейлор Белленбах лежал недвижим со сломанной ногой и пулей в плече, вас нашли с такой дырой в черепе, в которую можно спокойно спрятать сигару, каким же образом он оказался на перемете, Гевин?

— Не знаю,— отвечал тот.

— Ну хорошо. Сейчас я уже с вами буду говорить не как шериф. Скажите, как все-таки Бойд попал на этот перемет?

— Откуда я знаю.

Шериф взглянул ему в глаза, и они испытующе посмотрели друг на друга.

— И таков будет ваш ответ каждому, даже другу, если он вас спросит об этом?

— Разумеется. Я же был ранен, вы это прекрасно знаете. Я ничего не помню.

Шериф вытащил из кармана сигару и некоторое время рассматривал ее.

— Джо, тот глухонемой, которого вырастил Лонни Гриннап, он, видимо, покинул эти места. В последнее воскресенье он еще находился в хижине, но с тех пор его уже никто не видел. А он мог бы остаться. Никто не стал бы его трогать.

— Может быть, он очень тоскует по Лонни, чтоб оставаться,— заметил Стивенс.

— Может, и так.

Шериф поднялся. Он отгрыз кончик сигары и прикурил.

— А тот случай с вашим ранением, вы также ничего не помните? Скажите, каким образом вы узнали, что тут дело

не чисто? Что вы там нашли такое, на что другие, видимо, не обратили внимания?

— Весло,— сказал Стивенс.

— Весло?!

— Да, весло. Вы когда-нибудь закидывали перемет у того места, где разбили свой бивак? Чтобы его проверить, вам не нужно весло... Вы тянете лодку за шнур, перебирая перемет руками с одного крючка на другой. Лонни также никогда не пользовался веслом. Лодка его была привязана за то же дерево, что и перемет, а весло всегда стояло в лачуге. Если вы когда-нибудь заходили к нему в гости, то вы, конечно, обратили на это внимание. А тут, когда парень нашел его мертвым, весло находилось в лодке.

СОДЕРЖАНИЕ

Изо дня в день	3
Монк	17
Руки над водами :	34

Уильям Фолкнер

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Редактор М. М. Жигалова.

Технический редактор А. И. Евтушенко.

Сдано в набор 03.02.79. Подписано к печати 07.06.79. А 00672.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Новогазет-
ная». Высокая печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,06.
Тираж 100 000. Изд. № 1527. Зак. № 156. Цена 30 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина 125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.